

РИММА КОВАЛЕНКО · Свой человек Зойка



РИММА
КОВАЛЕНКО

Свой
человек
Зойка

58 кн.



НОВИНКИ-СОВРЕМЕННОСТИ

Римма Коваленко

Свой человек
Зойка

Рассказы и повесть

«Современник»
Москва
1974

K56
P2

Коваленко Римма Михайловна.

K56 Свой человек Зойка. Рассказы и повесть. М., «Современник», 1974.

223 с. (Новинки «Современника»).

Римма Коваленко много ездит по стране, встречается с интересными людьми. Это и позволяет ей многопланово показывать жизнь и судьбу своих героев.

Рассказы и повесть, представленные в книге, посвящены нашим современникам—партийные работники, журналисты, рабочие, колхозники, пенсионеры, школьники—люди активные, жизнестойкие, настоящие борцы. Повесть «Пешком в мамин детство»—о тесной неразрывной связи настоящего и прошлого, о подлинной дружбе, которая связывает юных и взрослых, о том, как бережно нужно относиться к судьбе подрастающего человека.

K 70302—169
 M 106(03)—74 7—74

P2

Рассказы

Куда оно уходит...

— Оно сейчас ушло? — спрашиваю я девочку с жесткой челкой на лбу.

Она смотрит на меня узкими глазами, облизывает побелевшие в трещинах губы и не понимает, о чем я спрашиваю. Мы незнакомы. И откуда ей знать, что я люблю вот так, ни с того ни с сего, огреть человека вопросом.

— Я вас поздравляю, — шепчет она на всякий случай, — это такое счастье. Я даже не знаю, что мне сейчас делать.

— Надо дать домой телеграмму, — подсказываю я. — У тебя есть деньги на телеграмму?

— Да, да, — наконец кивает она, — у меня есть деньги. Они умрут от счастья.

Мои от счастья не умрут. Если я пошлю телеграмму, папа прочтет и скажет сам себе: «Она жива. Остальное со временем выяснится». Марья, когда отец вручит ей телеграмму, будет ходить по квартире и искать очки. Потом будет по очереди искать то очки, то телеграмму. «Она сообщает, что поступила в институт», — не выдержит папа. Марья тут же охладает к очкам и телеграмме и обиженно пожмет плечами. Она всегда обижается, когда что-нибудь значительное происходит не с ней, а с кем-нибудь другим, даже с ее родной племянницей.

Мы сидим с узкоглазой девочкой в вестибюле института, и нет у нас сил подняться с мраморного выступа стоны. Все ушли, а мы сидим, как приклеенные, и смотрим на доску с белыми листками. Там наши фамилии среди фамилий других счастливиц. Если бы кто-нибудь догадался нас сфотографировать — это был бы снимок века. Так сказать, счастье в его чистом виде, мате-

риализованное в образах двух измочаленных надеждами и зубрежкой девиц.

— Оно сейчас ушло? — снова спрашиваю я свою подружку по счастью.

— Кто?

— Детство.

Она поднимает брови и молчит. Так молчат отличницы: все знают, но не надейся, что подскажут.

— Мне надо точно знать, ушло оно или не ушло. — Я смотрю на нее, как удав на кролика.

— Оно уйдет постепенно, — говорит она. — Мы этого не заметим.

Вот все и ясно. Толковая, обстоятельная девчонка. Не влетит на ходу в лужу, не назначит свидание в пять часов утра. В сумочке — идеальный порядок: чистый носовой платок, кошелечек, записная книжка. Домой не поедет. Пошлет телеграмму: «Приняли. Здорова. Общежитие дали». Родители пришлют ей денежный перевод. Она все рассчитает, найдет дешевую столовку и на оставшиеся деньги будет ходить по музеям и театрам.

У меня дар угадывать и предсказывать. Всем девчонкам из нашего класса я предсказала будущую жизнь. Все радовались и хохотали, только Лилия Белкина обиделась. Ей я напороочила троих детей и лысого мужа. Лилька считает, что выходить замуж — мещанство. Надо достигнуть чего-то великого в жизни, а потом, если проснутся материнские инстинкты, родить от любимого человека без всяких загсов, штампов и прочих предрассудков.

— А вдруг материнские инстинкты проснутся раньше, чем ты достигнешь чего-то великого? — спросила я.

Лилька фыркнула и вытаращила на меня свои ледяные с черными зрачками глаза. Было видно, как из них струилось презрение. Кто-то сочувственно пискнул:

— А как же ребенок без отца?!

Лилькин голос зазвенел от негодования:

— Какое отношение имеют отцы к детям? Кого из нас воспитал отец?

Я бы могла сказать: меня. Но Лилька так презрительно жрет глазами тех, кто перечит ей в споре, что лучше не связываться.

Эта девчонка, что сидит со мной на мраморном выступе стены, выйдет замуж через десять лет. Закончит университет, аспирантуру, получит квартиру и выйдет замуж

за какого-нибудь Вадика, с которым училась вместе с первого класса. Сейчас ни он, ни она этого не подозревают. Он тоже сейчас сидит где-нибудь, бледный и растерянный, переживает свое поступление в институт. Через десять лет они встретятся кандидатами наук, пожениются и будут всем говорить, что любят друг друга с первого класса. Люди будут смотреть на них как на сумасшедших, потому что у всех нормальных людей первая любовь — воспоминание.

Обо всех я все знаю, а о себе — ничего. Это значит, что со мной случится что-то невероятное. Оно уже началось, надо только не волноваться, взять себя в руки и спокойно, с достоинством выйти навстречу новой жизни.

— Я не поеду домой, — говорит девчонка, — это далеко и очень дорого. Я живу в Душанбе.

Мы расстаемся. Она идет по вестибюлю, худенькая, с черной косой на спине. Я почему-то переживаю, когда за ней закроется огромная дверь, и тоже поднимаюсь. Вечером я сяду в поезд, утром буду дома. А потом снова вернусь сюда. Самый лучший город с парками, музеями, театрами, толпами иностранных туристов будет моим целых пять лет. Здесь произойдет то главное и удивительное, что должно произойти в моей жизни. Я гляжу на прохожих: увы, это произошло без вашего согласия. Это произошло вообще непостижимо каким образом. Восемнадцать человек на одно место. Тридцать медалистов. Внезапно меня пронизывает страх: совпадение! Это кого-то другого приняли с такой же фамилией. Нет. Сердце возвращается из невесомости на свое старое место. Гуляева Анна Прокопьевна. Милый мой Прокоп-Укроп! Ни у какой другой Анны нет такого отчества.

На улице Горького три девчонки с обветренными лицами спрашивают, как пройти к ГУМу.

— Прямо, девочки, прямо и веселей.

Они улыбаются мне белоснежными зубами, крепкие такие, хорошие девочки, не сбива их с толку, не закружила столица: несут заработанные денежки в ГУМ, накупят обнов и себе, и родным.

На влюбленных я смотреть не могу. На влюбленных смотреть нельзя. Некоторые этого не понимают и глазают; перед влюбленными надо опускать глаза и говорить про себя: «Ребята, пусть хоть у вас это будет всю жизнь». А на тех, кто ходит в обнимку, целуется на ходу, смо-

треть можно. Эти выпили в кафе и выкатились на улицу. Им можно смотреть в глаза: «Ну, и как в царстве при-
матов?»

Мчатся машины. У входа в гастроном маленький водоворот: входят, выходят. Меня затягивает. Покупаю банку маслин, кладу в сумку и прямо у прилавка, стиснутая очередью, начинаю плакать. Плачу и двигаюсь плечом вперед, на выход. «Это разрядка,— объясняю себе на улице.— Это нервы. Весь мир должен расступиться в такой день, а они толкают». И еще эти маслины. Прокоп и Марья будут делить их, как дети: тебе большая и мне большая, тебе эта сморщенная замухрышка и мне замухрышка. И каждый ревнивым оком следит за другим: так они любят эту дурацкую, непонятного вкуса ягоду, которую почему-то редко продают в нашем городе.

Выхожу на улицу, прислоняюсь лбом к стеклу витрины. Чувствую, что умираю. У меня приступ любви к моим старикам. Не хочу в общежитие, не хочу на вокзал, хочу сейчас, сию минуту оказаться дома.

Любую квартиру называют домом. А у нас дом — дом. С красным петухом на коньке крыши, с двумя большими березами в палисаднике. На одной березе — скворечник из футляра старинных часов. Весь город знает наш дом, весь город знает Прокопа — главного архитектора города. Но даже самые близкие друзья не догадываются, какие же на самом деле Прокоп и его злая сестрица Марья. Это знаю только я. Знаю, как они грызут друг друга, как мучают меня, единственное светлое пятно в их жизни. Надо уехать от них и знать, что это надолго, может быть навсегда, чтобы вот так, прислонившись лбом к холодному стеклу витрины, умирать от любви к ним.

Никто не подходит, не спрашивает, что со мной. Это не Ленинград. Я никогда не была в Ленинграде, но точно знаю, что там бы сразу ко мне протянулись интеллигентные, участливые руки.

В поезде я долго не могу уснуть. Москва слезам не верит. Моим слезам вообще никто не верит. Если бы у меня была мама, я бы, как все дети, плакала по любому горькому поводу. Но мамы нет, и мне некому плакать.

Я лежу на полке и думаю, как встретит меня Прокоп, что скажет Марья. Они не ждут моего появления: телеграмму я не посылала и застаю их в том естественном состоянии, в котором им предстоит жить без меня. Я ста-

раюсь представить это естественное состояние: как они молчат и глядят друг на друга кроткими глазами. Вечером смотрят телевизор или вспоминают свои детские годы. Это справедливо, что я уберусь и дам им отдохнуть. Нельзя бесконечно испытывать терпение добрых старых людей.

Прокопу уже за шестьдесят. Марья скрывает свой возраст, но ей тоже около того. Они росли в добропорядочной семье, учились музыке и в детстве никогда не ссорились. Зато сейчас наверстывают. Последняя ссора произошла за два часа до моего отъезда. Прокоп пришел с бутылкой шампанского, плюхнулся в кресло и сказал:

— Сейчас на перекрестке у театра столкнулись три машины.

Марья поджала губы и глянула на брата так, будто он был виновником столкновения. Я тоже не пощадила его, спросила противным голосом:

— Может быть, четыре?

— Нет, не четыре, а три.— Прокоп разозлился.

И пошло-поехало. Марья накинулась на него.

— Я всю жизнь жду, когда ты остановишься. Асенька, он врет с трех лет.

Она всегда называет меня Асенькой, когда накидывается на Прокопа.

— Я задыхаюсь от вашей правдивости,— заорал Прокоп,— мне нечем дышать от ваших правдивых постных рож!

— Не надрывайся, лучше дай в ухо. Обещаешь всю жизнь.— Когда он орет, мне его не жалко.— Видели бы твои избиратели, как ты провожаешь единственную дочь.

Прокоп открыл бутылку, шампанское выстрелило, струя взметнулась к потолку. В другой момент мы бы с Марьей бросились к нему на помощь, но тут ни одна не сдвинулась с места. Прокоп вылил остатки шампанского в бокал, выпил и пошел к двери. Открыл ее ногой, повернулся и «благословил»:

— Все равно провалишься.

Провожать до калитки меня пошла Марья. Мы шли, опустив головы, как две побитые собаки.

— Не потеряй деньги,— сказала она на прощание,— и брось свою привычку водить за собой хвост подруг и кормить их из своего кармана.

Господи, как они мне оба тогда надоели! Я чмокнула ее в щеку и побежала к троллейбусной остановке.

И вот, спустя месяц, я снова иду по своей улице. Она совсем не удивлена моему появлению. Наверное, даже не заметила моего отсутствия. Я так хорошо ее знаю, и она меня, что никаких высоких чувств мы не испытываем друг к другу — ни любви, ни тоски расставания. Просто улица, и просто человек, который оставил на ней миллион своих следов, и каждый из них смывали дожди, затаптывали другие ноги.

Пятиэтажный желтый дом, в котором живет Наташка, среди одноэтажных и двухэтажных домиков кажется небоскребом. Я останавливаюсь у арки и еле удерживаюсь, чтобы не предстать пред ней в этот ранний час. Удерживает чемодан. В доме нет лифта, а Наташка живет на пятом этаже. Все-таки захожу во двор. Сажусь на скамейку, задираю голову и смотрю на Наташкин балкон...

Мы всегда собирались у Наташки Павловой. Я и Светка. В квартире не было телефона, и за Наташкой надо было заходить. Заходили и засиживались. Наташкины братья-близнецы мотались по комнате как заведенные, бабушка ворчала на кухне: «Ходят и ходят, без них повернуться негде...» — и все равно лучшего места для разговоров, чем эта тесная шумная квартира, у нас не было. Сидели на диване, отгороженные высоким столом, с которого свисали неровные края вязаной скатерти, и чаще всего слушали Светкины монологи. Светка говорила выразительно. Когда она говорила, выходила из кухни бабушка послушать и даже близнецы прерывали свою беготню, клали подбородки на стол и слушали Светкин голос.

— Я это недавно поняла, — говорила Светка, и в глазах ее вспыхивали искры. — Я поняла, что такое счастье. Девочки, счастье — это умение радоваться. Надо находить радость во всем. Надо уметь носить радость не только в себе, но и на себе, как самое прекрасное и драгоценное платье.

Наташка всегда соглашалась с ней, восторженно подкидывала:

— Понимаю! Светка, я тебя понимаю!

Я помалкивала. На мой взгляд, самые мудрые вещи в этих разговорах изрекала бабушка: «Счастье голой рукой не возьмешь...»

Наташкины мать и отец возвращались с работы вместе. Мать плюхала на стол сумку, набитую хлебом и пакетами с едой, потом шла в прихожую раздеваться. Отец серьезно, но как-то незаинтересованно выспрашивал о школьных делах. Мать возвращалась в комнату, слушала и глядела на нас страдальческими глазами: «Ох, девочки, разговоры ведете, а уроки не учите».

На выпускной вечер мы отправились втроем на Наташкиной квартиры.

— Десять лет мы просидели за партой и на этом диване, — сказала с пафосом Светка.

Мы окинули прощальным взглядом комнату, будто знали, что уже никогда больше не соберемся втроем на старом диване.

...Я стою в Наташкином дворе возле круглой, обложенной белым кирпичом клумбы и вдруг понимаю, что попала в чужую страну. Клумба поросла травой, из нее выглядывали розовые махорчики маргариток. Этот дворовый пейзаж, замкнутый белыми кирпичами, был таким сиротским и несчастным, как укор: чего пришла, устала! Ну, были другие времена — дожди и солнце, другие цветы и песни. Иди, иди своей дорогой, не задерживайся. Все это уже не твое: и двор, и клумба, и Наташка, которая сейчас спит или собирает в детский сад близнецов. И что ты скажешь Наташке? «Здравствуй! Я поступила в институт». — «Прощай! А я не поступила».

Я все-таки потащила свой чемодан на пятый этаж, к двери, за которой жила Наташка. Отдышалась, пажала пуговку звонка. Наташка предстала передо мной в утреннем зачумленном виде. В халате, который отпосило в семье старшее поколение женщин, в обрезанных валенках на босу ногу.

— Аська! — вскрикнула она и отступила назад, как от привидения. — Почему ты с чемоданом?

— Потому что с поезда, — ответила я на ее дурацкий вопрос.

Она приблизилась ко мне, сжала своими худющими руками, и я поняла, что меня жалеют. Притащиться ни свет ни заря с чемоданом мог только человек, потерпевший крушение.

— А я плюнула, — зашептала она, — схватила трояк на сочинении и забрала документы. Чего пастязаться, ког-

да с четверками не прошли! Дома, конечно, думают, что я сдавала все экзамены. Понятно?

Конечно, понятно. Не проговорюсь. Сдавала, так сдавала.

— А Светка?

— Ой! У Светки такие дела — упадешь и умрешь на месте.

Но тут в коридоре появились близнецы. Наташка стала натягивать на них курточки. Я глянула в открытую дверь и увидела Наташкину бабушку. Она стояла, сложив ладони на животе, и глядела на меня скорбными, укоряющими глазами. Я знала, о чем она думает: «Что же это вы все как на подбор такие пикудышные?»

Так же поглядела на меня и Наташкина мать. Я сказала ей весело:

— Здравствуйте!

А она, не глядя на меня:

— Здравствуй, здравствуй.— Открыла перед близнецами дверь и ушла вместе с ними.

— Не жизнь, а похороны в дождливый день,— сказала Наташка, когда мы уселись на диван и загородились от всего света столом.— За гробом идут близкие родственники и льют очень горькие слезы.

— ...а покойник лежит мордой к небу,— подхватила я,— ловит ртом дождь и мечтает о той блаженной минуте, когда они наконец завалят его землей и оставят в покое.

Мы с Наташкой любим «красиво» поговорить. И кажемся друг другу в эти минуты очень остроумными и современными.

— Ну, ладно, хватит, слушай про Светку. Светка оказалась самой примитивной мещанкой. Познакомилась в парке на танцах с курсантиком из военного училища, и они уже отнесли заявление.

— Куда?

— Как куда! В загс, естественно.

— Вот это да! — восхищенно говорю я.— В этом что-то есть, Наташка. Представляешь, он говорит: «Светлана, я не могу жить без вас, будьте моей женой».

— Я не завидую,— говорит Наташка.— Это точка. Пойдут дети. И Светка всю жизнь будет женой офицера.

— Офицер, инженер — не в этом дело. Печально то, что человек сошел со своей собственной дороги. Теперь

она уже не человек, а как бы хвост. Куда муж, туда и она.

Мы долго моем Светкины кости, будто и не была она с первого класса углом нашего треугольника. Мне надо сказать Наташке, что я поступила в институт, но я не могу этого сказать. Наташка сидит уверенная, что обе мы в одинаковой беде. Разбить эту уверенность — значит сделать ее одинокой и несчастной. Я напишу ей письмо: «Натаха! Я твой друг навсегда. Она большая-пребольшая, человеческая жизнь. Никто ничего не знает, кому повезло в ее начале, а кому нет. Может быть, из всех нас троих счастливой окажется Светка, потому что никто не знает, что такое счастье, когда оно приходит и куда уходит...» Это будет большое письмо, доброе и печальное. Письмо-прощание с Наташкой, городом и детством.

— Хочешь, я пойду с тобой! — говорит Наташка. — При посторонних они сдерживают свои эмоции, и тебе будет легче.

— Не надо. Во-первых, ты не посторонняя, — отвечаю я, — во-вторых, Прокоп и Марья — закаленные бойцы в битве за идеального человека, то есть за меня. Они выстоят.

Наш дом стоит в глубине двора и смотрит на меня квадратными, настороженными окнами. Прокоп внушил мне с детства, что прямоугольные окна высокомерны, а такие, как наши, чего-то ждут, кого-то выглядят. Я открыла калитку и пошла по кирпичной дорожке, задев плечом листья сирени, шла легкая, новая, предвкушая, какое потрясение будет сейчас у Прокопа и его сестрицы Марьи.

Теперь-то я знаю: все, что угодно, можно планировать, только не чувства. А тогда не знала. Вбежала на крыльцо, ворвалась в дом и закричала не своим голосом:

— Эй! Люди! Здесь есть люди?!

Прислушалась и услышала спокойный Марьин голос:

— Анна вернулась.

У меня от обиды оборвалось сердце. Никто не спешил ко мне.

Я вошла в кабинет Прокопа. Он лежал на тахте. Напротив в кресле сидела Марья. Окна были зашторены, и в полосах света колыхался пластами папиросный дым. Прокоп лежал и курил.

— Привет, — сказала я, — здравствуйте.

Прокоп кивнул, не отрывая головы от подушки.

— Единственный ребенок приехал с потрясающей победой, а они как мух наглотались.

Прокоп улыбнулся, Марья изобразила на лице удивление:

— Поступила!

— Представь себе — поступила.

Я презирала их в эту минуту. Особенно Прокопа.

— Может, ты встанешь и поздравишь дочь!

— Я сейчас это сделаю, — ответил он, — но пусть дамы при этом не присутствуют.

Мы с Марьей вышли.

— Может, ты испечешь пирог! — накинулась я на Марью. — Я всегда подозревала, что в этом доме живут аристократы. Знаешь, что такое аристократизм? Это отсутствие человечности.

— Теперь буду знать, — сказала Марья. — Чего ты бесишься! — Она бросила взгляд на открытую дверь кабинета и шепнула: — Прокопу плохо. Предложили на пенсию.

Прокоп догадался по нашим лицам, о чем мы шепчемся. Остановился по дороге в ванную, схватил своими толстыми ладонями мои щеки:

— Не переживай, ты родилась, когда мне было под пятьдесят. У тебя старый отец.

— У меня молодой отец! — крикнула я ему вслед. — Маленький медведь с колокольчиком!

Он запнулся, повернул в мою сторону голову:

— Неужели помнишь!

Помню. Мне было тогда лет пять. Мы ехали долго-долго на машине. Моя голова лежала на коленях Прокопа, а его ладонь на моей голове. Он вез меня к своей сестре Марье в маленький городок, где она жила и работала в библиотеке. Вез, чтобы там меня оставить, потому что после смерти моей матери замучился с няньками и карантинными в детских садах.

— Там есть кошка и собачка, — говорил он по дороге.

— А медведь? — спрашивала я. Зачем-то мне нужен был медведь.

— И медведь.

— Большой?

— Маленький, с колокольчиком.

Мы жили долго у Марьи, я завела там даже себе под-

ружку, первоклассницу Тасю, которая научила меня читать. Все шло как надо, и не подозревал никто, что я подпущу жуткий вой в день отъезда Прокопа.

— Обманщик! — кричала я ему. — Где маленький медведь с колокольчиком?

— Я сейчас приведу медведя, — успокаивал он меня, — тогда ты замолчишь, останешься?

Нет, я не собиралась оставаться, сказала ему такое, от чего он дрогнул и приказал сестре:

— Собирай ее.

Слова эти он никогда не вспоминал. И я тоже, хоть и не забыла. Я даже помню, как душили меня рыдания и как трудно было выкрикнуть:

— Ты мой маленький медведь с колокольчиком...

...Марья испекла пирог. Она это делает незаметно и быстро. Мы сели за стол, и я, как гостья с дальней дороги, чинно глядела на хозяев. Хозяин сидел грузно, второй подбородок покоился на круглом воротнике свитера, седая грива еще не разлохматилась, откинута назад, и от этого лицо устремлено вперед. Хозяйка — сама кротость, если бы не ниточка сомкнутых губ. Очень разоблачительные губы. Как бы смиренно ни светились глаза, губы не дадут им никого обмануть.

— Продолжим разговор об аристократах, которые живут в этом доме, — сказал Прокоп, разрезая пирог, — если мне не изменяет слух, вы об этом вели речь.

— Слух в порядке, — осадил я его. — Между прочим, самая аристократическая черта — это умение подслушивать чужие разговоры.

— И ты, и твои слова — не в счет. — Прокоп не желал со мной ссориться. — Аристократов в этом доме двое. Я и Марья.

— Поздравляю, — буркнула я.

Тонкие губы Марьи вытянулись в улыбке. Ей понравилось начало разговора.

— Теперь об отличительной черте. Сначала ты сказала — бесчеловечность. Потом пыталась острить насчет подслушивания чужих разговоров. А на самом деле самая главная черта истинного аристократа... — Он замолк, глаза погасли, губы сложились в обиженную гримасу. — Я не буду продолжать. Не желаю.

Мы молча пьем чай, едим пирог. Прокоп в своем репертуаре. Для кого-то сложная, оригинальная личность,

а для меня, видящей его насквозь,— человек с затыпавшимся периодом детства. Хорошо еще, что Марья сейчас настроена мирно. Молчит, счастлива, что причислили к аристократам. Ах, какой эти аристократы поднимают крик, когда время от времени начинают выяснять отношения!.. И все же вот такое молчание ничем не лучше скандала.

— Замрите,— говорю я им примпрительно,— я привезла вам кое-что.

Бегу к чемодану и возвращаюсь с банкой маслин. Ставлю на стол. Прокоп задумчиво глядит на меня и вдруг изрекает:

— Глупо. Все, что ты совершаешь в последнее время,— глупо и жестоко.

Что-то случилось тут без меня, начинаю метаться в поисках ответа: Марья старая, Прокоп инфантильный, я поступила в институт, Прокопа выпроваживают на пепсию, Прокоп расстроен. Почему я поступаю глупо и жестоко?

— Прокоп,— спрашиваю я,— ты рад, что я поступила в институт?

— Я горд,— отвечает Прокоп.— При таком конкурсе поступить на архитектурный факультет — это подвиг.

— Мне повезло.

— Тебе повезло с отцом,— уточняет Марья,— не забывай, что он архитектор, ты с пеленок жила в этом мире.

— Я был главным архитектором,— говорит Прокоп, нажимая на слово «был». И закрывает ладонью глаза.

Я не хочу его таким видеть. Пусть самодурствует, дразнит меня, надевается, что угодно, только не страдает. Надо его разозлить.

— Укроп,— ехидно говорю я,— с каких кислых щей ты стал аристократом? Ты ведь так гордился своей родословной. А там завалился кто-то из высшего сословия?

— Мы с Марьей,— серьезно ответил Прокоп,— аристократы в первом поколении.

— Аристократы духа,— понимающе киваю я.— Теперь понятно, почему дочь твоя к этому не причастна. Это не передается по наследству.

— Что ты знаешь об аристократах! «Высшее сословие...» А о таких, как Чехов, сыновьях лавочников, что ты знаешь о таких аристократах?

Прокоп говорит со мной серьезно. Это бывает редко, и я слушаю его, не перебивая.

— Возьмем аристократа в его чистом виде, как пишут в учебниках, из высшего сословия. Все у него — власть, деньги, какая-то свобода действий. И все-таки в одном случае он только помещик, дворянин, пкуродер, пьяница, развратник, а в другом — аристократ. Постарайся понять: дух человека, его подлинный, а не сословный аристократизм заключается в умении отказывать себе. Отказаться от жратвы, а выпивать чашку кофе. Отказаться от своего характера, если он крут и нетерпим, отказаться от всего того, что противно природе человека.

Он говорит запальчиво, походя оскорбляя меня: «Господи, что ты уставилась, как овца? Ведь ничего же не понимаешь!» — противоречит этими словами сам себе, но я не сержусь. Мне кажется, что он хочет убедить меня и себя, что поступил как аристократ, решив уйти на пенсию.

— Ты сам решил уйти на пенсию? — спрашиваю я строго.

— Да.

— И считаешь, что поступил правильно?

— Да.

— Ты думал, что я провалюсь и вернусь домой?

— Да.

На крыльце послышались голоса. Пришли старые друзья Прокопа — художники Микола и Сергей Ильич. Наш серьезный разговор прервался. Прокоп пошел встречать своих стариков, они там что-то выкрикивали в прихожей, хохотали и кашляли, потом ввалились в столовую.

— Не пугайтесь, это моя беглая дочь Анна, семнадцати лет.

Прокоп развеселился, приказал Марье принести наливку. Когда та — с вытянутым от недовольства посом — поставила бутылку на стол, он поцеловал ей руку и «представил» пришедшим:

— Моя родная сестра Марья. Соратница. Друг жизни.

Марья выркнула на него злым глазом и ушла на кухню. Я сказала Миколу:

— Прокопу, между прочим, пить нельзя.

Микола обиделся и заорал:

— А кто пьет? Где пьют? Прокоп, чего она лезет?

— Она здесь никто, — ответил Прокоп, — она поступила в институт и уезжает от нас навсегда.

Я ушла от них. Когда приходят Микола и Сергей Ильич — это надолго. Миколу Марья не выносит. Сергей Ильич когда-то сватался к ней, но что-то у них не склеилось, и вот уже много лет они не смотрят друг другу в лицо, монотонно разговаривают, как на уроке иностранного языка: «Я предлагаю вам взять этот кусочек». — «Спасибо. Но я уже сыт. Если вас не затруднит, налейте мне чаю». У меня с гостями общего языка нет. На их взгляд, я существо сумбурное, без признаков внутренней жизни. Я просто дочка их друга. Оба они убеждены, что я загородила Прокопу выход в архитектурные боги, связала ему руки в лучшие годы и поэтому он застрял в нашем городе, не дал выхода своему редкому таланту. С Миколой у нас был об этом разговор.

— Прокоп больной, — сказал Микола, — у него гипертрофия чадолюбивой шишки. — Он похлопал себя по затылку, показывая, где находится эта шишка.

Микола, сколько я его знала, был стареньким. И у меня никогда не поворачивался язык сказать ему что-нибудь обидное. И тут я не стала ничего раздувать:

— Хорошо, что у него одна я. Представляешь, если бы нас было пятеро?

— Это хуже пожара, — серьезно ответил Микола и сморщил нос, что выражало: «С кем я говорю? Размениваю свои высокие мысли на пятикопеечные разговоры с этой девчонкой».

Они все передо мной ершились: и Микола, и Прокоп, и Марья. Их, как я понимаю, больше бы устроила девочка с опущенными в почтении ресницами, такой книжный подросток, знающий свое место среди старших. Но подростки — явление временное. Вчера девочка с восторженными словами: «Я знаю, что такое счастье! Надо уметь носить радость не только в себе, но и на себе, как самое драгоценное платье», — а сегодня уже чья-то жена.

Я иду к Светке. Надо посмотреть, что за фрукт этот курсантик, который женится на ней. Надо спросить у него, как он представляет счастье, будет ли он носить его на себе торжественно, как парадный мундир.

Светка пугается при моем появлении. Глядит умоляюще.

— Ты что? — удивляюсь я. — Ты не рада мне?

— Ты уже знаешь?

— А что тут знать! Подумаешь, замуж собралась! Что тут такого?

Светка моргает ресницами, вот-вот заплачет. Говорит дрожащим голосом:

— Наташка от меня отказалась.

— Никто от тебя не отказался. И зачем тебе теперь Наташка?

— Ты тоже ничего не понимаешь?

Светка пальцами ловит с ресниц черные слезы и стряхивает их на пол. Ресницы густо накрашены, плакать с такими трудно.

— А что тут понимать? — говорю я. — У тебя будет муж, а все, что было, то было, настала новая жизнь.

— А дружба?

— Дружба никуда не денется. Дружба — дружбой, служба — службой, а семья превыше всего.

Светка смотрит на меня печально и говорит страшные слова:

— Знаешь, Анька, у тебя всегда было мало святого за душой.

Жениха я так и не повидала. На столе лежала записка. Я ухватила глазом первую строчку: «Свет мой Светка!» Сорок человек учились со Светкой десять лет, и ни одному не пришло в голову так прекрасно назвать ее. Но вот явился тот, кто полюбил ее, и сказал: «Свет мой Светка...»

Домой я возвращалась, как на вокзал — сегодня ночь и завтра ночь, а послезавтра вечером придет мой поезд, и я поеду.

Марья стоит на крыльце в позе Ермоловой со знаменитой картины. Я прохожу мимо нее без слов. Спрашивать ни о чем не надо. Все ясно. Теперь надо смотреть на Прокопа. Если он вышагивает по террасе с трубкой, лучше незаметно укрыться от их глаз, чтобы не навлекать новой волны скандала.

Шагов на террасе не слышно. На столе — отпитая на треть бутылка наливки, неубранная посуда. Марья подходит ко мне, говорит выдохнутым после бурных объяснений с Прокопом голосом:

— Я уеду от него. Мне не надо было вообще приезжать. Все из-за тебя.

Это я уже слыхала. Из-за меня у нее не та пелесня,

какая должна быть, из-за меня она погрязла в кастрюлях. Наверное, про себя считает, что из-за меня осталась старой девой.

— Я уеду,— повторяет Марья.— Лучше поздно, чем никогда.

— Не говори глупостей. А как же Прокоп?

— Ты же уезжаешь. Ты почему-то себя не спрашиваешь: «Как же Прокоп?»

— Я совсем другое дело. Мне надо учиться.

— Тебе прежде всего надо стать человеком.

— Я уже человек.

— Отнюдь. Тебя слишком любил Прокоп. А любовь не обучает. Ты ничему не обучилась.

— Я обучусь. У меня еще есть время.

— Нет,— говорит Марья,— для такого учения ты уже слишком стара. Но когда-то все-таки надо будет платить долги.

Я уже не могу отвечать ей спокойно, срываюсь, кричу:

— Сколько я тебе должна?!

— Ты должна Прокопу. А он — мне. Но я ему прощаю. Он занимал не для себя, для тебя.

— Ах, вот как! Ближайшие родственники вели счет расходам. Кормили кашей и записывали, сколько стоит крупа, сколько молоко!

— Чудовище! — прошипела Марья и плюнула в мою сторону.— Утопить такую не жалко.

— Всех не перетопишь.— Я видела, как злые слезы катятся у нее из глаз, но жалости они у меня не вызывали.— Все молодые идут своей дорогой. Они выплачивают свои долги следующему поколению — детям.

— Правильно,— затрясла головой Марья,— тогда ты узнаешь. Это будет справедливо.

Она пошла от меня в свою комнату. Сухонькая разгневанная старушка. Когда я увидела ее прямую узкую спину и седой узелок на затылке, то поняла, что я сейчас вытворяла. Отчаяние охватило меня.

— Марья! — заорала я и бросилась ей наперерез.— Прости меня! — Я бухнулась на колени, уткнулась лицом в ее ноги.— Ударь меня, прокляни, только прости.

Марья опустила на пол, уткнулась лицом в мое плечо:

— Он умрет без тебя.

— Прокоп? — спросила я.

— Он умрет. Я это знаю. Это так все сразу: и пепел и ты.

— Что же делать, Марья?

— Пожалей его. Не уезжай. Останься.

У нее были все-таки старосветские понятия о жизни. Как я могу остаться? Такой конкурс! Такая победа! Прокоп сказал: «Я горд».

— Я никуда не поеду,— сказала я Марье,— останусь с вами.

— Обо мне речи нет. Это для Прокопа.— Марья поверила моим словам.— Напиши письмо в институт. Пусть переведут на заочное. Прокоп устроит тебя в проектный институт. Ты будешь учиться и работать, а он будет жить.

Она говорила, и каждое ее слово убивало меня. Прокоп будет жить! Для этого я должна отказаться от своей жизни. От города, который не верит слезам, а верит удачливым, смелым людям, от своих предчувствий, что там со мной случится что-то необыкновенное.

— Из-за чего вы поссорились? — спросила я, чтобы перевести разговор на другое.

Марья поджала губы, прежнее надменное выражение появилось на лице.

— Микола — алкоголик. Я это сегодня установила. А наш готов с ним пить до инфаркта.— Она прикрыла глаза, решала: говорить — не говорить, наконец решила: — Та бутылка, что стоит на столе,— вторая.

Бедный Прокоп. Ему без меня будет действительно плохо. Не мой отъезд, не Микола-алкоголик, а родимая сестрица Марья доведет его до инфаркта.

— Он очень расстроился? — спросила я.

— Он лег и захрапел.

Я помогла Марье подняться. Килограммов в ней было тридцать, не больше.

— Если не спит,— сказала она,— принеси ему чая.

Прокоп не спал. Посмотрел на меня искоса и снова уткнулся в книгу. Я спросила:

— Будешь пить чай?

Он покачал головой: не буду. Не отрываясь от книги, спросил:

— Когда уезжаешь?

— Послезавтра.

— Один вопрос: не могла бы ты забрать с собой Марью?

— Папа,— я произношу это слово торжественно, и он скидывает голову,— папа, почему о простых вещах мы никогда не говорим серьезно?

— Как-то оно так пошло и катится,— отвечает Прокоп.— А какие простые вещи ты имеешь в виду?

— Те, что происходят со мной. Я поступила в институт. У меня начинается новая жизнь, а ты ничего не хочешь сказать мне вслед.

— Я уже все сказал. Я тебя вырастил. Ты поступила, а я вступаю... Тоже в новую жизнь.— Он замолкает, потом исподлобья подмигивает мне.— Забери с собой Марью.

С ним нет никакого слладу. Сидит толстый и сникший. Волосы растрепаны, седые космы развеваются, как у мудреца.

— Помнишь Наташку и Светку?

— Помню.

— Наташка провалилась, а Светка выходит замуж.

— Ты тоже выйдешь замуж.

— Не знаю.

— Когда выйдешь, рожай побольше детей.

— Зачем?

— Когда один — это плохо. Трудно.

Я добилась серьезного разговора. Но что-то мне от него совсем не радостно. Прокоп снова погружается в книгу, я сижу тихо, оглядываю комнату: старый письменный стол, черный во всю стену и тоже старый книжный шкаф, в нем из-за стекла смотрят на меня мои детские фотографии. Девочка с бантиком на макушке, девочка с косами, девочка с куклой, девочка с книжкой. Прощай, девочка! Я подхожу к креслу, в котором сидит Прокоп, кладу ему сзади руки на плечи и спрашиваю:

— Куда оно уходит?

Он поворачивает ко мне голову, серый глаз глядит чисто, с интересом:

— Ты спрашиваешь про счастье?

— Про детство.

— Никуда, — отвечает Прокоп, — остается. Сидит и сидит, а потом возьмет и вылезет: здравствуй.

— Ты мой умный старенький мальчик, — говорю я и кладу свою голову на его седые лохмы.— А я знаешь кто?

— Кто?

— Я твоя хорошая дочь.

Прокоп кашляет и хриплым голосом спрашивает:

— Ты в этом уверена?

Я не уверена.

— Прокоп,— говорю я ему, и слезы ползут у меня по щекам,— хочешь, я никуда не поеду, останусь. Буду учиться заочно. А ты меня по блату устроишь в проектный институт.

Он качает головой: нет, не хочу. Губы вздрагивают, будто он что-то беззвучно произносят, потом поднимает на меня глаза, смотрит строго и грустно.

— Тебе еще долго жить на свете. Ты еще узнаешь, что тот, кто уезжает, возвращается. А тот, кто уходит, никогда.

Я понимаю, о чем он говорит, и сердце мое пустеет от горя.

— Ты никуда не уйдешь,— говорю я ему,— и я никуда не уйду, я только уеду и вернусь. А ты будешь сидеть и ждать меня, как...

— ...как Пенелопа,— подсказывает Прокоп.— Дурица, по-моему, была эта Пенелопа. Сколько она ждала?

— Сколько надо,— отвечаю я. Мне не нравится, что он опять хочет отделаться от меня болтовней.— Прокоп, давай серьезно.

— Давай,— соглашается он.— По блату я ничего и никого не устраивал. Странно, что ты этого не заметила. И я вряд ли рекомендовал бы тебя сейчас в проектный институт. И вообще, тебе самое время пожить среди людей.

Я стараюсь попасть ему в тон:

— Надо мне скорей становиться взрослой, самостоятельной. Не сердись, но ты и Марья оберегали меня от жизни, очень любили. А любовь не обучает.

Мне очень хочется успокоить его, я повторяю Марьину фразу о любви, которая не обучает, и удивляюсь его словам:

— Любовь обучает. Больше, чем что-нибудь иное. Только мы плохо учимся. А насчет того, что надо скорей становиться взрослой, ты не спеши. Не спеши.

Первая статья

Письмо со вчерашнего дня лежало во внутреннем кармане. Утром Роман еще раз перечитал его. И, когда шел на работу, думал: «Вот и попал в историю». Историй он боялся. В истории, по его мнению, могли попадать люди, крепко стоящие на ногах — с дипломом, с прочной профессией или уж такие, у которых ничего ни впереди, ни позади. А у него — особая жизненная статья: частная комната, второй курс юридического, а за спиной — два инструкторских года в горьком комсомола и три армейских.

Он шел и не замечал густого тумана и желтых пятен фонарей, которые не гасли и днем в большие морозы.

— Дяденька,— крикнул ему какой-то мальчишка,— сорок пять градусов! Не учимся!

Роман очнулся, почувствовал, что ноги мерзнут, и прибавил шаг. «А впрочем, ничего страшного не случилось,— успокоил он себя, поднимаясь по лестнице в редакцию,— как сказал бы Миша Кузовкин — «большое волнение от мелкого потрясения».

Зина долбила свою машинку. Таня пудрилась, привалив зеркальце к ребру книги. Луизы Ивановны не было. Обычно Роман, входя в отдел, браво приветствовал женщин: «Здорово, орлицы!» «Орлицы» улыбались и отвечали: «Привет, Ромочка!» — так начинался день.

Сегодня он сказал им «доброе утро», прошел к столу, на котором стоял графин с желтой, давно не менявшейся водой, и угрюмо уставился на него. Спросил, глянув на Таню:

— Дома у вас тоже такая вода?

Таня не спеша убрала зеркальце, спокойно, но с вызовом отпарировала:

— А у вас?

Зина перестала стучать на машинке, глаза ее удивленно расширились, она вскочила и схватила графин.

— Сейчас поменяю.

Он махнул рукой: дескать, меняй, но не в этом дело.

— А где Луиза Ивановна?

Зина с графином удалилась, Таня не спеша подняла на него глаза.

— Вы меня спрашиваете?

Роман не ответил.

Луиза Ивановна явилась, как всегда, с опозданием. Румяная с мороза, в распахнутой сунсовой шубе, она остановилась в дверях и окинула всех сияющим, лучезарным взглядом.

— Привет, ребятки!

Ей ответили сдержанно. Зина уткнулась в машинку. Таня скрестила пальцы, положила на них подбородок и уставилась на Романа.

— Луиза Ивановна, дисциплина для всех одна, — сказал Роман, глядя в стол. — Объясните, пожалуйста, свое опоздание.

— И только? — Луиза Ивановна сняла шубу, повесила на плечики. — Я, Роман Сергеевич, задержалась по личному поводу.

— А вчера?

— Что вчера? — Лицо Луизы Ивановны пошло розовыми пятнами.

— Вчера почему опоздали? И позавчера?

Луиза Ивановна посмотрела на Таню, ища в ней сочувствия, но та сидела с каменным лицом.

— Я не понимаю, Ромочка, почему вы говорите со мной таким тоном, — голос Луизы Ивановны дрожал, — я вам не девчонка. Здесь к тому же не казарма, а творческое заведение...

Роман понял, куда она клонит: он недавно из армии...

— Не заведение, а учреждение, — жестко сказал он. — Пишите объяснительную записку.

Они его вознепавидели. Он это почувствовал. Таня демонстративно смотрела в окно. Зина медленно, без всякого ладу вколачивала буквы. Роман достал из кармана письмо, положил его перед собой.

«Здравствуйте, Р. Серегин!»

Прошу извинить, что побеспокою вас, но как мать, считаю нужным сказать вам правду. Как я понимаю, вы хотели добра Галине, моей дочери. Хотели прославить ее как хорошую работницу, а принесли нам одно горе. Не сердитесь на мою откровенность, но где была ваша душа, когда вы печатали свою статью? На фабрике Галя работает четыре года, после восьмого класса пошла работать, и ничего, кроме хорошего, от людей не слыхала. Девочка она скромная и ответственная. А что маленькая и непрямая, так это какой глаз на нее посмотрит — добрый или худой. Если она вам, как молодому человеку, не понравилась, то это дело лично ваше, а срамить молодую девочку на всю область никому не дано права. А то, что одежда ее вам не приглянулась по нраву, так я вам скажу: есть у нее и хорошие платья, но про другой час. Одета и обута была не хуже людей, когда и потрудней жилось. А теперь про это и говорить между собой неудобно. А вы со всеми людьми через газетку тем секретом поделились. Нехорошо это с вашей стороны.

После вашей статейки Галя лицом загрустила, переживает. Я как мать чувствую, из-за чего. Пишу вам, чтобы вы наперед так с людьми не поступали».

Тишину нарушил Миша Кузовкин из комсомольского отдела. Открыл дверь и продемонстрировал в улыбке тридцать два великолепных зуба. С тех пор как Лунза Ивановна сказала ему: «Кузовок, у тебя вечный праздник на лице», — он неизменно улыбался, заходя в отдел.

— Ромка, — сказал Миша Кузовкин, — я к тебе за юридической справкой. Пришел в ресторан псих. Натуральный псих, с учетной карточкой. И перебил там все, что можно перебить. Кто платит? Псих же перед законом не отвечает. Работники ресторана не виноваты.

— Это казус, — сказал Роман, — в каждом отдельном случае — свое решение. А ты что — заполнил учетную карточку?

— Это дело ближайших дней. Переживаю душевный и творческий кризис. Подкинули бы письмишко на моральную тему.

— Есть одно письмишко, — сказал Роман, — только вряд ли оно тебе по зубам.

Они вышли в коридор. Роман посмотрел на буйную

Мишкину шевелюру и замялся, потом все-таки дал ему письмо, предупредив:

— Только не трепись попусту.

Мишка читал письмо, привалившись спиной к стене. Роман следил за его лицом.

— Да,— сказал Мишка задумчиво,— жалко, конечно, и деваху, и мамашу эту. Понимаешь, все же читали, и в глаза никому не бросилось, что ты ее как-то не так написал. Что собираешься делать?

— Не знаю.

— Напиши им письмо. Извинись. Самое благородное дело. Напиши, что это первая твоя статья. Ну, а первый блин, всем известно, комом.

Мишка был серьезен, и Роман ему был за это благодарен.

— Редактору показать?

— Кому? — Мишка поморщился.— Это тебе лично написано, не колотись.

Роман не уходил, и Мишка спросил:

— А что у тебя в отделе случилось?

— Дисциплину налаживаю: опаздывают, целый день треп на посторонние темы.

Мишка без всякого энтузиазма откликнулся: «Давай, давай»,— и ушел. Роман тоже пошел. На ходу оглянулся на свою дверь с табличкой «Отдел писем» и поежился, как от холода. Сидят там сейчас, обсуждают его достоинства. «Солдафон. Случайная личность в газете». «Ничего,— сказал он себе,— когда-нибудь надо было сказать им все». Писать статей он больше не будет, но руководить отделом еще попробует. Он спустился вниз, оделся и вышел на улицу. Мороз обжег лицо. Роман поднял воротник, выставил вперед голову и побежал по скрипящей от мороза тропке. У главпочтамта сел в трамвай, вытер платком мокрое от пара лицо и подумал, что все-таки едет на эту Енисейскую улицу, будь она неладна.

Письмо пришло вчера. Зина, разбирая вечернюю почту, положила его на край стола, и в светлых ее глазах появилось недоумение.

— Роман, тебе личное письмо.

Лунза Ивановна улыбнулась:

— Ромочка, поздравляю.

Он прочел на конверте обратный адрес — улица Енисейская — пожал плечами. Потом прочел письмо и рас-

строился: чего угодно, но такого ответа на свою первую статью он не ждал.

Они долго его обхаживали, чтобы выступил в газете. Редактор специально вызывал: «Роман, ты полгода в газете, пора уже конкретно выразить себя». Роман отказывался: «Я сразу предупреждал, что писать не умею. Честно предупреждал».

Редактор его признание обозвал уверткой и закруглил разговор железным доводом: «Нет — не умею, есть — не хочу». Посоветовал сходить на швейную фабрику, посмотреть, как там идут дела, и написать: «Комсомол этой фабрики выпал из поля зрения газеты».

Миша Кузовкин утешал: «Брось колотиться. Сходи на эту фабрику, присмотри бригадку, черкни в блокнот три факта, пять фамилий, потом обмозгуем». Миша славился тем, что из любого факта и фамилии мог воздвигнуть шедевр в любом жанре. Роман, перед тем как идти на фабрику, прочитал в подшивке все сочинения Кузовкина. Он показался ему богом. В последней Мишкиной статье был действительно один факт и одна фамилия. Девчонка с компрессорного завода вышла замуж и через несколько месяцев пришла в райком и положила на стол свой комсомольский билет. Это, как в задачке, — дано: фамилия девчонки и факт ухода из комсомола. А все остальное было Мишкиной душой, каким-то необъяснимым напором убеждать людей в том, во что верил сам. Он рассказал в статье этой глупой девчонке, что она положила на райкомовский стол вместе с билетом ни много ни мало — свою молодость, свою радость, свою надежду стать счастливой.

Статью Роман начал так: «Каждое утро к проходной швейной фабрики «Коммунарка» устремляются сотни девчат...» Мишка стал морщиться с первой строки.

— Так уже писали до тебя миллион раз.

— Намекаешь на плагиат?

— Нет. Штамп тем и отличается от плагиата, что каждый изобретает его самостоятельно.

Луиза Ивановна сказала:

— Не слушайте, Ромочка, этого гения. Вам надо утеплить и оживить статью деталями. Вспомните цвет глаз вашей героини, какие-то приметы ее одежды.

Он их слушал, мотал на ус и переписал статью. И гордился, что сделал это сам. В конце концов не такие

уж блестящие факты были у него, чтобы создавать бессмертный шедевр, и фамилия самая заурядная — Птушкина.

Ее вызвали в фабком, где он поджидал ее с раскрытым блокнотом. Маленькая, с закатанными за локоть рукавами халата, в косынке, закрывающей лоб. Села с ним рядом на диван и стала чесать по очереди то одну, то другую руку.

— Галя! — укоризненно сказала председатель фабкома и развела руками.

Галя смутилась, опустила голову и прикрыла ладонью нос. Потом, краснея и хихикая, объяснила:

— Мы сейчас лен шьем. У меня и еще у двоих эта... как ее...

— Льняная аллергия, — строго сказала председательница. — Кстати, уже есть решение перевести вас на другую ткань.

Галя была ударницей, училась в вечернем техникуме. Постепенно он вытянул из нее все факты, которые ему были нужны. На прощание сказал:

— Желаю вам успеха.

Она прыснула опять, прикрыла ладонью нос и опрометью бросилась из кабинета.

* * *

Забор был низкий, наполовину занесенный снегом. Калитка голубая, с почтовой щелью. Над щелью черной масляной краской выписан адрес: «Енисейская, 22». Роман толкнул калитку, потопал на дорожке, стряхивая с ботинок снег, и пошел к дому.

В окне он увидел Галино лицо, потом оно исчезло и появилось другое — матери. Открыла дверь Галя. Из маленькой прихожей Роман попал в теплую просторную кухню.

— Что же это вы в такой мороз? — спросила Галина мать, но смотрела не на гостя, а на дочь. Похоже, она догадалась, кто он такой.

— Мама, ты, кажется, куда-то собиралась, — сказала Галя и предложила Роману: — Раздевайтесь. — Взяла у него пальто, шапку, унесла в комнату.

Роман присел на табуретку, положил локоть на клеенку стола и огляделся. Чистая, ухоженная кухня. На рус-

ской печке — ситцевая в клеточку занавеска, эмалированный бачок с краном в углу, чистые половики.

— Я пойду,— сказала мать,— не обессудьте, не ждали вас.

Она опять посмотрела на дочь, и Роман понял, что уходит она не по своей воле, что это Галино желание.

Галя стояла посреди кухни, лицо ее было замкнуто и безучастно. Роман подумал, что она напугана его появлением, ждет от него новых неприятностей, и поспешил успокоить:

— Я на несколько минут. Хочу с вами объясниться. Слышал, что вы на меня в обиде за статью.

Галины губы тронула улыбка, она неторопливо прошла к столу и села напротив.

— А за что обижаться?

Роман растерялся. Он не ожидал, что она так спокойно, по-хозяйски будет с ним держаться. На фабрике, помнит-ся, волновалась, хихикала, прикрывая ладонью нос. А сейчас и глазом не моргнет. Роман решил сразу сказать, зачем пришел:

— Я, Галя, начинающий газетчик. Первую, понимаете, статью написал. Ну, и по неопытности изобразил вас не совсем так, как следует.

Галя слушала, глядя ему прямо в лицо. Это смущало Романа. Похоже было, что статья ее совсем не интересовала.

— А раньше где работали?

— А армии был. Три года. А до армии в горьком комсомола инструктором.

— А что закончили?

— Ничего не закончил. На втором курсе юридического застрял.

Она его допрашивала, а он ждал удобной минуты, чтобы подняться: «Ну вот и хорошо. Галя, очень рад, что вы на меня не в обиде». И вдруг она спросила:

— А как статьи пишут?

Роман замаялся: как ей объяснишь, когда самому впору спрашивать.

— Обыкновенно пишут. Познакомившись с человеком и напишешь, что за человек, как работает, о чем мечтает.

— Так просто сядешь и напишешь?

— Ну, не так чтобы просто. Надо ведь, чтобы не только верно, но и хорошо было написано.

— А если, кто плохой, подлец, например, про того фельетон?

— Точно,— Роман улыбнулся,— фельетон — самый ядовитый и читабельный жанр. Фельетон в номере — это гвоздь.

Галя смотрела на него по-прежнему спокойно.

— А я фельетоны не люблю.

— Почему же?

— Жалко тех, кого в них выставляют.

— Подлецов жалко? Хапуг и воров? — Он очень удивился. Наверное, бедняжка, хочет ему поправиться.

— Воров не жалко,— подумав, сказала Галя,— а вот вы про одну писали, что она курит, цель в жизни потеряла. Эту жалко.

— Каждый жалеет по-своему,— ответил Ромац,— один жалким словом жалеет, а другой — злым, справедливым.

Галя помолчала, потерла лоб ладонью, будто что-то вспомнила.

— Я один раз в суде была. Так там все справедливые слова были не злые. А вы, когда институт закончите, судьей будете?

— Не знаю. Может, и буду.

— А судят только по закону?

— Обязательно. На каждое преступление — своя статья.

— А какая самая первая статья?

Роман вздохнул: терпение его было на исходе. Просто экзамен какой-то, а не разговор.

— Смотря у какого кодекса. В уголовном — первая статья объясняет, что этот кодекс является единственным и обязательным для всех судов. Ну, а в гражданском по первой статье тоже никого не судят. Там в ней говорится о задачах этого кодекса.

Он поднялся. Галя тоже поднялась.

— Не уходите. Чаем вас напоить надо. Идите в комнату.

Сказала, как приказала. Роман пошел за пей в комнату и там увидел на полу пузатый электрический самоварчик, который фыркал и сипел, словно выражал недовольствие его появлением.

— Премия,— сказала Галя,— в прошлом году мы бо-
лоньи шили. Большую прогрессивку получили. А в газете премию дают?

— Дают,— Роман поднял самоварчик и поставил его на сверкающий никелем поднос,— дают премии, как и везде.

— И за статьи особо платят, так?

— Да. Гонорар называется. А вас, я смотрю, Галя, очень интересуют газетные дела.

— Все выясню,— Галя засмеялась,— потом возьму и напишу про вас. Фельетон.

— Почему же фельетон? — Роман сделал вид, что обиделся.— Напишите что-нибудь другое.

— Ага, боитесь. Про других пишете, а про себя не хотите читать.

— Ну, что ж делать,— он поднял ладони вверх,— пишете фельетон.

— И вас с работы уволят?

— Уволят.

— И мать ваша прочитает?

— Прочитает.

— И учителя, и с кем вместе учились?

— Все прочитают, Галя.

— А вы сами как тогда?

— Утоплюсь.

Она не засмеялась. Лицо стало серьезным, и во взгляде — укор: «Вот видите».

Роману пора было в редакцию. Он ведь успел и никому ничего не сказал. Галя вовсе не обиделась на его статью, по все-таки хорошо, что он побывал у нее. А теперь пора на работу.

— Я провожу вас,— сказала Галя.

Они шли к трамвайной остановке и молчали.

— Холодно, Галя,— сказал он ей,— возвращайтесь.

— Ничего,— ответила она,— я у вас еще про одно хочу спросить.

Он остановился, чтобы ей поближе было идти обратно. А она долго не находила слов для своего вопроса. Наконец нашла:

— Как вы себя представляете?

Он не понял.

— Я?

— Нет, не только вы... Как все в газете представляют себя?..

Он по-прежнему не понимал, а Галя настойчиво смотрела ему в лицо, дожидаясь ответа.

— Учителями представляете себя, или судьями, или еще кем? Вот вы, когда писали про меня, кем себя представляли?

Он понял, но у него не было ответа на этот вопрос.

— Психологом, наверное. Когда пишешь о человеке, стараешься быть психологом.

Он замолчал и почувствовал, что ему стало противно от этих слов.

— Мы еще как-нибудь обсудим этот вопрос, Галя,— сказал он торопливо, заметив приближающийся трамвай,— мы обязательно еще поговорим с вами на эту тему.

Трамвай подбрасывало на стыках. Роман сидел у искрящегося инеем окна, втянув голову в плечи, и постукивал подошвами на решетке пола, предвкушая свое появление в отделе. Раскаяния за утренний разговор в отделе не было. Было зябкое чувство неустроенности и неизвестности. «Когда пишешь о человеке, стараешься быть психологом». Никем он не старался быть. Просто утеплял материал этими... как их — деталями. «Маленькая, неприметная, в полинявшем синем халатике». Ему стало страшно: вдруг вспомнил, что написал, а потом зачеркнул,— «на вечерах такие обычно танцуют с подругами». Постеснялся оставить, верней, побоялся, что Луиза Ивановна скажет: «Ах, Ромочка, какой вы наблюдательный». И ни разу, ни на секунду, когда писал, не вспомнил о самой Гале. Сколько ей лет? Пожалуй, уже двадцать. И она кого-нибудь любит. И, как все девчонки, которым уже двадцать, хочет выйти замуж. Ей сказали: «Галя, про тебя статья в газете». Она вспыхнула, прикрыла ладошкой нос и потом тайком читала. Читала глазами того, кого любит. «Маленькая, неприметная, в полинявшем синем халатике...» Какое счастье, что зачеркнул эту подлую строчку: «На вечерах такие обычно танцуют с подругами».

— Зуб? — спросила пожилая женщина, сидевшая напротив.

— Да,— сказал он и жалобно посмотрел на нес,— болит.

Он был благодарен ей, что она так просто объяснила его страдание и можно дальше думать, не заботясь о том, что на перекошенном лице кто-нибудь прочтет его мысли. Он еще выше поднял плечи, опустил голову в воротник и стал искать ответ, который снимет с души тревогу. Но, наверное, оттого, что ответов было несколько, а он искал

один, думы его заходили в тупик. Вспомнились строчки из очерка Кузовкина о замужней девчонке и ее комсомольском билете. «Ты молодая, Люба, поэтому красивая. Нет молодых некрасивых. Так неужели тебе надоела твоя красота, что ты решила состариться?» Откуда Мишка знает, что нет молодых некрасивых, неприметных? Откуда это у него — от доброты, от таланта? И что вообще дает право журналисту выносить приговор человеку? Диплом? Собственная чистота? Судью от ошибки охраняет закон. Первая статья любого кодекса никого не судит, только объясняет. У врачей, кажется, тоже есть свой кодекс...

Он поднял голову и увидел сочувственные глаза уже другой женщины, сидевшей напротив.

— Зуб,— сказал он ей.— Никогда не болел и вдруг разболелся.

Любит —
не любит...

Таискина мать пришла на рассвете. Тихонько отодвинула щеколду на калитке, неслышно прошла по двору к открытому окну, из которого свесилась наружу тюлевая занавеска. Постояла у окна — занавеска что сито, а ничего не видать, — пошла к крыльцу и села. Учительница спит, и дочка ее Зиночка спит. Таискина мать сняла платок, вытащила из волос шпильки, стала переплетать косу. Коса тяжелая — заплетешь, заколешь баранкой на затылке, будто сзади кто потянет, подбородок сам кверху поднимается. Первая коса на всю деревню — была и осталась. А счастья не было. Что могло быть — не заметила. На что позарилась — не дотянулась. Теперь уже дочка замуж собралась, седые шитки протянулись в косе — не заплакать бы раньше времени, — учительница встанет, тогда уж и слезы и разговор.

День обещал быть жарким. От земли еще шел почной холодок, а лучи уже палили лицо, огуречные листья на грядке млели и вяли на глазах. Таискина мать нашла ведро, сходила к колодцу, принесла воды и полила грядку. Она бы еще чего поделала, да учительский двор был пуст — столб с рукомойником и одна огуречная грядка. У крыльца игрушки — кукла, детская посуда — Зиночки, учительской дочки. «Оно и правильно, — подумала Таискина мать, — никто не мычит, никакой петух глотку не дерет — человек отдохнуть может». Она так подумала не о себе — оправдывала и двор и долгий сон учительницы.

Таиска тоже сейчас спит. Пришла домой в полночь. Мать спросила: «Ты что же думаешь?» Таиска с порога, без всякой подготовки: «Думаю за Михаила замуж выхо-

дить». Просто так, с порожка. А что у матери сердце чуть не выскочило, это ей все равно.

— Всю правду, как на духу! — крикнула она дочери, и сердце ее еще больше зашло от дурного предчувствия. — Говори правду — никто, кроме матери, не поможет.

Таиска стояла, вскинув голову, маленькая, остроpleчая, одна краса досталась от матери — коса, — так и ту остригла. Платье укоротила. Двадцать лет, а с виду дитя дитем. Хоть и больно сердцу матери, видит оно: не такую в кругу первой выбирают. И еще сердце знает по сроку своему, по опытности: не всякое сватовство свадьбой кончается, бывает, что и обманом.

— У тебя, мама, одни глупости в голове. — Таискин подбородок дрожал от обиды. — Зачем ты такое говоришь?

— А затем говорю, что Мишка не твой жених. Забыла? Всем известно, кого он провожал, кому письма из армии писал.

— Ну и что? Что было, то прошло. А теперь он меня любит.

— А после тебя кого любить будет?

— Никого. Мы в сельсовет завтра идем. Будем просить, чтобы сразу расписали.

— Куда так торопитесь?

— Никуда не торопимся. И почему у тебя такие мысли в голове?

Таиска как легла, так и ушла в сон, как камень в воду. А у нее — ни в одном глазу. Мишкина мать преграды чинить не будет. От второго мужа трое меньших на руках. Михаил — старший — давно отрезанный ломоть. Деловой парень, видный собой. Только что у него на уме? Был бы приезжий, и дела нет — с кем гулял, кого сватал. А то свой, известный с тех пор, когда питаны сатиновые на лямках носил. С восьмого класса за Светкой Атамановой бегал — ни для кого не секрет. Да как еще бегал! Очередь в магазине соберется — к Светкиной матери вопросы: «Ну, как зятек будущий, паведывается?» Смех смехом, а в армию Мишка пошел, Светку официально невестой признали: «Что Михаил пишет?» Какой парень в армии — гаданье идет: вернется домой или по дороге где застрянет. Про Мишку никто не гадал: этот вернется.

Попробуй засни, когда такая круговерть в голове. Поссорились они, падо считать, со Светкой. Вот и решил он ей доказать. Парни — они и назло и на спор могут жениться:

«Вот тебе, мплая, кусай себе локти, видишь, как обернулось». И обман получится всем троим: и Светке, и ему, и Таиске. Вся жизнь под откос. Так что не только тот обман, про который она сразу намекнула Таиске, страшен. И другой есть — когда человек себя сам обманывает.

Зоя Николаевна не заметила ее, прошла мимо с полотенцем через плечо. Потом уже у рукомошника обернулась и крикнула:

— Заходите в дом. Я сейчас.

Таискина мать вошла в комнату, присела у стола, расправила платье на коленях, огляделась. Хорошо у Зои Николаевны, просторно и красиво! Букет на столе. Ковер под ногами. Другой денег и побольше положит на домашние вещи, а такой вот мягкости и красоты в доме нет.

Зоя Николаевна вернулась, включила электрический самовар, присела к столу. Таискина мать улыбнулась ей и застеснялась. Прибежала ни свет ни заря, а подошло время разговора — и слова все куда-то подевались.

Вышла Зппочка, заспанная, с розовым личиком, сказала:

— С добрым утром.

— С добрым, с добрым, деточка, — ответила Таискина мать. — Маленькие дети — маленькие хлопоты, Зоя Николаевна. Вот подрастет ваша — и поймете меня.

Зоя Николаевна учила Таиску в первых четырех классах. Таискина мать помнит, какая она в ту пору была робкая и неопытная. На родительских собраниях голос дрожал, однажды даже заплакала, когда одна из родительниц напустилась на нее: «Если мы за детей во всем ответственные, за что же ты деньги получаешь?» Таискина мать тогда не выдержала и выступила. «Стыдись, Марья, — сказала она, — у тебя двое, а у нее сорок. Она их всех сорок полдня в дисциплине и в учении содержит, а ты своих двоих за книжку на час не усадишь».

Таискина мать с почтением относилась к учителям, но с пятого класса стало их много: здоровалась со всеми, чтобы остановиться, поговорить — это только с Зоей Николаевной. Та всегда спрашивала про Таиску, однажды сказала: «Нравится мне ваша девочка, не шумная, с достоинством». Таиска училась средне, но все учителя относились к ней по-доброму, и Таискиной матери казалось, что идет это от Зои Николаевны.

Когда по селу прошел слух, что Зоя Николаевна выходит замуж, Тапскина мать подсказала дочке, что надо сходить ей с подружками поздравить учительницу. Они допоздна — человек двадцать — сидели вокруг стола и придумывали, как же поздравить, что подарить. Девочки учились в восьмом классе, Тапскина мать тогда подумала, что вот сидят девочки, смеются, а у самих уже не за горами замужество. Обо всех так подумала, кроме Тапски.

Зое Николаевне подарили альбом для фотографий с надписью: «Желаем счастья в новой жизни». Фотографий из новой жизни учительницы в альбоме набралось, наверное, немало. Муж ее, как появился, все ходил по селу с фотоаппаратом, снимал всех подряд. Был он темноволосый, узколицый, брови густые, как щетки, с Зоей Николаевной они пара, та хоть круглолицая, но такая же чернявая и статная.

Осенью муж уехал в город. Говорили, что он учится на кандидата и учиться ему еще два года. Но вот уже пошел шестой год, а он все только приезжает и уезжает: летом живет месяц-два, в другое время — и совсем недолго. Приедет, Зиночку, дочку свою, за руку по селу ведет, увидит гусят выводок или собаку у калитки — Зиночку к ним подведет и фотографирует.

Зоя Николаевна подвинула госте чашку.

— Ну, рассказывайте, что стряслось.

Тапскина мать протяжно вздохнула и начала. Зоя Николаевна слушала ее внимательно, с интересом. Самовар вскипел, она выключила его, усадила за стол Зиночку. Потом, дожидаясь, когда чай в чашке остынет, стала расспрашивать:

— А может, пичего этого и нет, никакой ссоры со Светой? Может, все совсем по-другому?

— Кто знает, — ответила Тапскина мать, — в том-то все и дело, что ничего не известно. — Ей, показалось, что Зое Николаевне не хочется говорить при Зиночке: маленькая, ничего не понимает, а все равно не положено слушать взрослые разговоры, — и Тапскина мать из вежливости перевела разговор на другое.

— Привыкли вы к здешней жизни, Зоя Николаевна, видно, никуда уж не уедете.

— Привыкла. Да и куда ехать?

Тапскина мать посмотрела в сторону: как же куда, когда муж в городе, а ты с дитем здесь.

— И то правильно. У нас тут хорошо,— сказала Таискина мать,— люди не злые, обеспеченнее хорошее, и ребенку в деревне расти не то что в городе.

Зиночка вылезла из-за стола, пошла во двор к своим грушкам. Таискина мать с ожиданием посмотрела на учительницу. Та сказала:

— Что же мне вам сказать про вашу дочь... Это, пожалуй, один из тех случаев, когда никто никому помочь не может. Решили двое быть вдвоем и будут. А счастьем это обернется или несчастьем — кто знает...

Таискина мать обиделась. Не за таким разговором шла она сюда. Двое решили — и никто им не указ. Ну, нет! Этих двоих еще кто-то родил и выкормил. Если им все равно, что их ждет впереди — счастье или беда, то матери не все равно.

— Как же так? — спросила она. — Как же так, что никто не знает?..

Зоя Николаевна смотрела на нее пристально, и под этим взглядом Таискина мать опустила голову.

— Если хотите, я поговорю с Таисой.

Таискина мать покачала головой:

— Я и сама поговорю. Вот только что ей сказать? Научили бы, Зоя Николаевна.

Таискина мать вздрогнула и вскинула голову: Зоя Николаевна смеялась. Невеселый это был смех. Слезы выступили на глазах у Зои Николаевны, она смахнула их ладонями к вискам и снова в упор посмотрела на гостью.

— Извините, это я над собой. Неученая я по этой части, неграмотная. Сама бы у кого поучилась, как счастливыми в семейной жизни бывают.

Таискина мать постаралась участливым вздохом прикрыть любопытство.

— А на вид он мужчина самостоятельный. Девочку любит. Приезжает часто.

— Он и меня любит,— сказала Зоя Николаевна,— а только никакой жизни у нас не было и не будет.

Таискину мать подмывало спросить: почему? Но на такой вопрос не решилась.

— Представляю, что обо мне на селе говорят.— Зоя Николаевна говорила о себе не таясь, свободно, и это очень удивляло Таискину мать.— Говорят: учительница — соломенная вдова, муж есть, и нет его, не иначе как другую нашел, то ли еще что-то темное. А ничего такого и в по-

мине нет. Поженились — ему учиться было еще два года. Зиночка родилась. Приеду к нему в город — все у нас вроде хорошо, а сама думаю: господи, если так вот каждый день видеть его, слушать — тоска тоской.

— Привыкли вы к такой жизни: он там, вы здесь, — осторожно сказала Таискина мать. — Уж если поженитесь, надо было сразу строить совместную жизнь.

— Не знаю, — Зоя Николаевна поднялась и прошла по комнате. — Не знаю. Теперь мне кажется — хорошо, что вместе не живем. Очень хорошо.

Таискина мать смотрела, как она ходит по комнате, и вдруг, не замечая своей смелости, осуждающе выпалила:

— Все так да не так, Зоя Николаевна. Кто-то другой его образ в вашем сердце застил. Перешел дорогу. А вы в том самой себе не сознаетесь.

Зоя Николаевна остановилась посреди комнаты. Таискиной матери показалось, что в глазах ее мелькнул испуг.

— Нет другого. Почему обязательно другой? Разве нельзя просто разлюбить? Ушла любовь, и нет ее.

Таискина мать с сомнением пожала плечами.

— Девочка у вас. Когда ребенок есть, про любовь не думают.

* * *

Она шла по пыльной улице, вспоминала разговор с учительницей и сердилась, что он перекрыл ее думы о Таискином замужестве. Почему-то разговор этот вызвал досаду: разлюбила. Никто, видать, в жизни не обижал, не обманывал, что позволяет себе такие понятия. Живет в доме одна, девочку в сад водит, все у нее в порядке, в чистоте. Говорит о себе свободно, без боязни, что кто-то сплетню из ее откровенности сплетет. И еще отчего-то сосала досада, она не сразу поняла отчего. Потом поняла: от своих последних слов: «Когда ребенок есть, про любовь не думают». Сказала — и глазом не моргнула. Как будто не к ней в тридцать лет пришла ее первая, настоящая любовь, когда Таиска уже была во втором классе.

Она свернула на узкую, поросшую травой улочку, сняла туфли и пошла босиком по теплой, нагретой солнцем траве. Свернула не случайно: не хотелось именно сейчас проходить мимо дома, где жил он, Сергей Тутарин, со своей бездетной женой Фросей. С Фросей она до сих пор не

здоровается. Проходят и не смотрят друг на друга, как чужие. А были ведь самые лучшие, первые на селе закадычные подружки. Вместе в школу бегали, у обеих юность припала на войну. Сколько секретов друг другу порассказано, сколько песен спето! Обе на стройку в сорок шестом поехали, в одном общежитии жили. На парней не заглядывались, была у них цель: денег заработать, домой вернуться. Фрося вернулась раньше. А она замуж вышла. От того замужества — как и не было его — ни радости, ни горечи не осталось. Муж, Павлом его звали, завербовался на Север, через месяц письмо прислал: «Оформляй развод. Новая мне полоса в личной жизни вышла». Она оформила и словом ему не намекнула, что ребенок будет.

Фрося приютила ее, когда она с грудной Таиской вернулась в село. Три года они жили вместе, пока она свой дом поднимала. По-новому пошла их дружба: у Таискиной матери вроде бы уже все в жизни кончено, а у Фроси все вперед.

Сергей приехал в село после армии. Служил там на сверхсрочной, потом вольнонаемным в гараже при военной части работал. Про их село из газеты узнал, прочитал, что не только хорошо на трудовень получают, но и культурно живут. Письмо сначала написал в правление, примут ли. Вот тогда председатель и вызвал Фросю — не согласится ли она взять к себе на постой Сергея Тутарина, который будет работать в колхозе шофером.

Давно уже кончилась узкая, поросшая травой улица, Таискина мать шла лугом к кособору, за которым начинались искусственные озера утиной фермы. На ферме работала Светка Атаманова — Таискина бывшая одноклассница. Не думала к Светке идти, да, верно, надо, коль ноги сами безо всякого на то согласия к ферме идут.

Сергей поселился у Фроси. Был он собой невидный, узкоплечий, с мелким, скучным лицом. Красили его лицо только улыбка — зубы один к одному, как чесночинки, да глаза: улыбнется — вспыхнут, станут ярко-синими. Фрося сразу переменялась: прижимистая на деньги, тут вдруг раскошенилась — в райцентр поехала, обгов себе закупила. На улицу выйдет — все понимающе переглядываются: Фрося квартиранта своего обвораживает.

Таискина мать тоже это видела и в душе жалела Фросю. Каково-то ей будет узнать, что Сергей любит другую. Каждый вечер, пробираясь задами дворов, она бежала к

реке, где на мостках сидел он, с мокрыми после купания волосами, с папирсой в руке. Рядом стояла его полуторка, тоже мокрая — он мыл ее каждый вечер, по армейской привычке. Она садилась рядом с ним, опускала ноги в воду и смотрела на черное небо в крупных звездах. Потом они ехали к березовому леску, без дороги, по луговой траве, не зажигая фар. Что бывает в восемнадцать лет, ей выпало в тридцать.

Машину подбрасывало на кочках, плечи их сталкивались, а разговор шел про все на свете, только не про то, про что им надо бы поговорить. Скажи кому-нибудь, не поверит: они ни разу за всю свою любовь не поцеловались. Она не торопилась, знала, что это вперед. А вот такого, как сейчас, никогда больше не будет.

Если бы тогда знать... Если бы хоть кто знал, когда надо торопиться, когда ждать.

Она пришла к нему, как обычно, на мостки. Села рядом и подняла голову к небу. Коса ее размоталась и упала на спину, и сразу же тревожно забилося сердце. Он еще ничего не сказал, а она уже знала, что это последняя их встреча. Молчали долго, она первая спросила:

— Уезжаешь?

— Нет.

Они еще помолчали, прежде чем он сказал:

— Ты не говори Фросе, что мы с тобой вот так, почью, виделись. Ни к чему ей это знать. И ничего ведь у нас не было.

— Жениться на ней решил?

— Да.

Она не сразу поняла. Обида захоловула, свело дыхание. Крикнуть бы, броситься в воду, но не было сил даже слово сказать.

— Так уж получилось, — сказал он.

Она молчала, а он повторял:

— Никуда не депешься, так получилось.

Наконец она очнулась, с трудом выговорила:

— Что получилось?

— То, что мы с Фросей уже как муж и жена.

Фрося что-то знала. Не позвала на свадьбу. А вскоре перестала здороваться. Таискина мать долго пряталась от людей, замкнулась в себе, хотя никто ничего не знал. Через полгода она встретила его на дороге. Подошла как ни в чем не бывало, поздоровалась. Потом после пустых, нелов-

ких вопросов: «Как живешь?», «Фрося-то чего губы дует?» — вылила на него всю свою злость и обиду.

— Не думай, что несчастной сделал. Ничего у меня к тебе не было. Не из той ты породы, по которой сохнут.

Он принял ее слова спокойно, ответил коротко:

— Тогда не о чем и говорить.

До сих пор она не знает, что у него к ней было. Любовь, которую Фрося загубила, или просто так время вел, ждал, кто к нему руку посмелей протянет, тому и достанется.

Светку Атаманову она увидела издали. Косынка красная, фартук синий — картинка-девочка. Светка тоже ее увидела, дернула плечом и пошла, как по снегу, вспугивая шагами белое утиное стадо.

— Света, — позвала ее Таискина мать, — я к тебе, Света.

Светка остановилась и пошла обратно. Они подошли к вагончику с надписью «Красный уголок» и сели на скамейку.

— Я к тебе по-доброму, Света, — сказала Таискина мать и осмотрелась. Женщины на ферме занимались своим делом, на них не обращали внимания. — Ты мне скажи, деточка, что у вас с Михаилом получилось?

Светка опустила голову, глухо ответила:

— Это никого не касается.

Таискина мать замолчала: торопиться не надо, вот так посидят, помолчат, а потом все само собой скажется.

— Зачем вы пришли? — сказала Светка. — Вы бы у него спросили. А я не знаю, что у нас получилось.

— Он обещал жениться? — осторожно спросила Таискина мать.

— Вот еще! — Светка сморщила нос, — у нас до этого не доходило. У нас чистая с ним дружба была, без глупостей.

Таискина мать насторожилась:

— А с Таиской у него какая дружба?

— Откуда я знаю! — Светка поднялась, сложила на груди руки. — Что вы меня допрашиваете?! Таиску свою допросите, чем она его к себе приклеивала. Только пусть она не думает, что отбила. Много ему чести. Таиске передайте: кто легко одну бросает, тот и другую так же бросит.

По Светкиным щекам поползли слезы. У Таискиной матери сердце сжалось: когда же это хоть какой порядок

будет в жизни, чтоб одна любовь другой дорогу не переходила?

— А я его и не любила, — вытирая фартуком лицо, сказала Светка, — зло только берет, что людям не докажешь.

Назад Таискина мать шла быстро. Солнце над головой, а свинья в сарае не кормлена. Хорошо еще, что вчера договорилась, что на работу выйдет после обеда. Вот так все к сердцу принимать — только себя и людей запутаешь. Что уж тут придумашь, когда у жизни на каждую любовь придумка своя! «Таиске передайте: кто легко одну бросает, тот и другую так же бросит». Ай, милая, кто это знает... Одну бросит, к другой навек присохнет. Тут уж, видно, не от одного зависит, как все будет, а от двоих. И гадай не гадай — ничего не угадаешь. Вон даже учительница — все знает, других учит, а в этом сама неученая.

Свой человек Зойка

Близнецы послали первую в своей жизни телеграмму: «Сегодня вывесили списки там дважды наша фамилия мама валерьяпка в кухне на полке шлите телеграфом пятьдесят поздравления почтой».

— Дураки,— огорчилась Таня,— такие молодые идиоты — денег нет, а они целых столько слов намотали.

Дмитрий Алексеевич взял у жены телеграмму, нахмурившись перечитал и спрятал в боковой карман пиджака. «Будет хвастаться,— подумала Таня,— вот так же нахмурится, вытащит из кармана и будет совать каждому кстати и некстати. Очень счастлив».

— Валерьяпка в кухне на полке,— сказала она ему и обиделась: хоть бы улыбнулся в ответ. Спросила, сдерживая раздражение:

— Ты нездоров?

— Устал.

Он по природе своей был молчуном, но за двадцать лет Таня так и не привыкла к его односложным вопросам и ответам. Всякий раз ощущала обиду, слушая, как он охотно говорит о своих делах по телефону, или вдруг дома, в застолье, ударится в воспоминания; тогда откуда что в нем берется, люди стонут от смеха и машут руками, взглядами говорят Тане: «Мы бы и рады вести себя подостойней, но сами видите...»

С отъездом близнецов квартира померкла. Таня заходила в комнату сыновей, смахивала тряпкой пыль с их письменных столиков, читала надписи на обоях: «В четверг — вместо литературы физика», «Сейсмология — наука о землетрясениях», «Павел, узнай и напиши внизу — может ли плавать слон?» Она разрешала им писать на сте-

нах, спать на полу, не волновалась, когда в темном коридоре почти до утра желтела полоска света: она сама могла до петухов просидеть над книгой, и кого выпить, если это запойное чтение досталось им по наследству. Знакомым она говорила: «Там, где в мозгу у женщины чадолюбивые центры, у меня слепое место». Близнецы до десятого класса ходили в лыжных байковых куртках, только перед отъездом в институт им были куплены одни часы на двоих.

Зойка позвонила в субботу:

— Завтра утром приеду.

Таня обрадовалась. Наступил сентябрь, Дмитрий редко ночевал дома, район завершал уборку хлебов; ночью звонил, чужим далеким голосом диктовал ей цифры и поручения, как от школьницы требовал: «Повтори». Каждый год в это время она чувствовала себя несчастной: отправив близнецов в школу, разворачивала районную газету, вглядывалась в колонки цифр уборочной сводки и сравнивала с теми, которые называл в телефонных разговорах Дмитрий. Если день выдавался пасмурный, она ходила и шептала: «Нет, не будет дождя, не будет». Сыновья, глядя на ее молитвенное лицо — дождя не будет, — смеялись: «Мама в роли Ильи-пророка». Дмитрий, когда возвращался из района, морщился от расспросов: «Я дома или на совещании бригадиров?» Одна только Зойка понимала ее.

— Не переживай, — говорила Зойка, — что посеяли, то и пожнут. А Димка у меня достукается. Хочешь я о нем фельетон напишу?

Таня смеялась, Зойка всегда что-нибудь ляпнет. Говорила вечером мужу:

— Зойка приехала. Будет писать о тебе фельетон.

Дмитрий Алексеевич, пропустив мимо ушей «фельетон», спрашивал:

— На сколько дней приехала? — Хмурился. — Как будто других районов нет, недавно ведь была.

Таня обрывала его:

— Опомнись! Это же Зойка.

Считается, что друзей выбирают. Они не выбирали Зойку. Их свел вместе первый послевоенный год, узенькая скамейка в сквере возле педагогического института. Сдавали вступительные экзамены. Незнакомые друг другу Таня и Зойка сидели на скамейке, уткнувшись в учебники, Дмитрий ходил по дорожке туда и обратно, руки за спину, голова опущена вниз.

— Этот поступит,— сказала Таня Зойке и крикнула маячившему на дорожке военному: — Зря волнуетесь, с вашими регалиями можно не волноваться.

Он остановился, сказал как отрубил:

— Это не регалии, а награды.

Таня не смутилась:

— Между прочим, регалии и награды — одно и то же. Зойка добавила:

— Такой серьезный и, паверное, женатый.

Военный взглянул на Зойку, рассмеялся и присел рядом с ними.

В тот год Зойка многих сместила своими словами, деревенскими повадками. На первой лекции она прервала старого профессора:

— Не молоти, люди за тобой писать не успевают.

Аудитория грохнула смехом, профессор поглядел на Зойку с испугом: «Винovat», — и стал читать медленней.

Она была родом из белорусской деревни, но вспоминала о ней мало. Таня очень удивилась, когда 23 февраля увидела на Зойкиной груди партизанскую медаль и орден Отечественной войны.

— А что вспоминать,— говорила Зойка,— деревня была, дом новый перед войной поставили, а теперь одни трубы. Век бы этого не вспоминать и не помнить.

Городская жизнь захватила ее и понесла, как лавина: после лекций Зойка развивала такую бурную деятельность, что скоро стала легендарной личностью на всех факультетах. Волейбольная секция, хор, кружок бальных танцев — Зойка не могла этого упустить, вечно она ходила с какими-то списками, сидела под дверями декана, дожидаясь приема. В студенческой толпе ей радостно кто-нибудь кричал: «Зойка!» Только вечером в комнате общежития Зойкины глаза гасли, она присаживалась на Танину кровать и, глядя в сторону, спрашивала:

— Виделись?

Таня ждала этой минуты, каждый вечер она исповедовалась Зойке в своих сердечных делах, не замечая, как темнеет лицо подруги, как жалко дрожат ее губы в улыбке. Дмитрий спрашивал Таню:

— Почему твоя Зойка избегает меня?

— Боится стать соперницей,— шутила Таня, не подозревая, как близка к истине.

На втором курсе Таня и Дмитрий поженились. Свадьбу

справили скромно, втроем пошли в ресторан. Зойка произнесла тост:

— Желаю вам быть счастливыми и до самой смерти любить друг друга.

Дмитрий пригласил ее танцевать, Зойка раскраснелась от вина, шепнула ему на ухо:

— У меня тоже жених есть. Руку и сердце предлагает.

Когда Дмитрий сказал об этом Тане, та махнула рукой:

— Выдумывает. Никого у нее нет.

Жениха у Зойки не было. Был один малознакомый морячок, по имени Влас, который присылал с Балтики письма. Зойка ездила после первого курса со студенческой делегацией на подшефный военный корабль, там с ним и встретилась. Он писал ей нежные письма: «Жму ручонку, стремлюсь с мечтой о встрече». Таня сердилась: «Развела капитель. Сочини что-нибудь, например, что любишь другого, он и отстанет». Зойка не могла так написать. Ни в чем не был виноват этот Влас, за что же его таким обухом.

По-настоящему они оценили Зойку, когда родились близнецы. Комнатка в общежитии была не приспособлена к семейной жизни. Еду варили в коридоре на электрической плитке. Младенцы спали валетом в деревянном корыте, которое Зойка притащила с рынка. Она прибегала после лекций, заглядывала в кастрюльки с засохшей кашей, срывала с веревок пеленки:

— Видеть вас не могу. Родили два ребеночка, а зашились, как с дюжиной.

Выпроваживала их из дома. Таня до сих пор помнит ту необыкновенную легкость, почти материальное ощущение свободы, которое наполняло ее сразу же на улице, когда они с Дмитрием выбегали из общежития. Мир представлял в звуках и красках, можно было пойти в кино, куда угодно. «Давай подарим Зойке близнецов насовсем», — говорила она Дмитрию. Тот вздыхал и отвечал серьезно: «Не имеем права».

Домой возвращались виноватые перед Зойкой, радовались покою и чистоте своего маленького жилья, пили чай, Таня ревниво поглядывала на спящих малышей: слово, что ли, Зойка знает какое, что они при ней не пискнут.

— Эти мракобесы подрастут, — говорила подруге, — ты получишь диплом педагога, если не заломим большую

цепу и мы к тому времени не передумаем, то возьмем тебя в гувернантки.

Зойка почему-то не смеялась и, смущая их обоих, отвечала:

— А я бы пошла.

Они мечтали после выпуска работать вместе, но их направили в разные концы: Зойку — в поволжский городок, Таню и Дмитрия — в сибирское село. Через три года в ночь под Новый год в их промерзшее стекло постучала Зойка. Это была фантастическая ночь. Зойка ввалилась, как снежная гора, — шестнадцать километров шла лесом. Стояла на коленях у пылающей печки, растирала замерзшее лицо, смеялась и плакала. Потом они сидели на диване перед елкой, Зойка рассказывала о своей жизни, время от времени выбегая в комнату посмотреть на спящих близнецов: «Так выросли, что вроде уже и не мои».

Через несколько дней, когда Зойка засобиралась в дорогу, Таня впервые почувствовала неладное. Укладывая в чемодан вещи, Зойка вдруг спросила:

— У Димы какие-нибудь неприятности?

Таня задумалась:

— Да вроде бы нет.

— Он такой хмурый, молчаливый. Не болен?

— Ты что, забыла Димку? Когда это он со мной был красноречив?

Вот тогда Зойка и сказала те слова, которые никогда уже не могла забыть Таня.

— Смотри, чтобы не влюбился он тут в какую-нибудь молодку. Если вы расстанетесь, я тебе этого не прощу.

Тане удалось взять себя в руки, она ответила насмешливо и легко:

— Ты мне не простишь? Интересная получилась бы ситуация.

Зойка ничего больше не сказала, но они поняли друг друга.

В их жизни было еще немало встреч: однажды отпуск провели вместе, путешествуя по Енисею на туристском пароходе. В то время Дмитрий работал вторым секретарем райкома партии, и Зойка насмешничала по этому поводу: «Подумать только, отец такая светлая личность, а дети растут догматиками». Близнецы улыбались, отзывались на «догматиков», не чуя никакого подвоха в новом имени. Они любили Зойку тихо и преданно. Стояли с двух сторон,

воткнувшись в нее лбами, когда она читала им на палубе книжку, каждую ее просьбу выполняли наперегонки. «Куль тети Зои,— говорил Дмитрий,— с возрастом это пройдет». Но не прошло. И в пятом, и в седьмом классе близнецы писали Зойке подробные письма, каждый в отдельности, в разные дни.

Когда близнецы пошли во второй класс, в семье случилось непредвиденное событие — Дмитрия направили на партучебу в Москву, на два года. Таня быстро приняла решение: «Я еду с тобой. Первые полгода близнецы поживут у Зойки. Устроимся и заберем». Она написала подруге письмо, но, видимо, богат был тот год на перемены не только в их жизни, ответ пришел с отказом: «Не могу, Танюша, и не спрашивай сейчас — почему. Сама ничего не знаю, не понимаю».

Дмитрий уехал в Москву, Таня оставила близнецов с соседкой и помчалась к Зойке. Торопилась, будто знала, что через день-другой не застанет ее на старом месте.

Встретила ее Зойка враждебно: «Ну, и любопытная ты Варвара. Так на похороны не скажут, как ты на мою тайну. Ничего тебе не скажу, кроме того, что уезжаю». Зойка никогда не была скрытной и тут долго не продержалась. Таня слушала и ахала: «Зойка, я за тебя боюсь. Зочка, что же с тобой будет?»

Зойка тоже боялась, но храбрилась: «Ну и пусть — двум смертям не бывать. Надоело мне сидеть около жизни. Пусть щепки от меня полетят, пусть сгорю синим огнем — хоть что-то да будет».

Ничего такого страшного, к чему она приготовилась, не случилось. Человек, к которому она поехала, встретил ее на станции, взял из рук чемоданы и сказал: «Молодец. Все-таки отважилась».

Таня послала мужу в Москву письмо: «Кто бы мог подумать, что наша Зойка — литературный талант. Она тут потихоньку от нас писала в областную газету разные произведения и дописалась до того, что к ней специально послали корреспондента по имени Володя. Корреспондент удостоверился, что талант обитает в образе человеческого. И тут, Димочка, случилось то, что на этом свете иногда случается: они решили пожениться. Меня в этой истории смущает только одно: Зойка ринулась в эту новую жизнь с какого-то отчаяния. По-моему, она его не любит». Дмитрий ответил: «К Зойкиной перемене в жизни я отношусь

положительно. Поздравь ее от меня. Я бы это сделал сам, но у меня нет адреса. Насчет того, что она его не любит, то, мой совет, брось свои домыслы. Это в ранней молодости по песням да по книжкам каждый знает, что такое любовь. А если здраво о ней судить, то ничего о ней никто не знает».

* * *

Таня никогда не встречала Зойку. Она приезжала утром, останавливалась в гостинице, где ей накануне заказывали место, шла в райком и уже оттуда звонила Тане. Но этот ее приезд был необычный — в воскресенье, — райком закрыт, Дмитрий в колхозе, и Таня в шесть утра отправилась на станцию. Шла тихими пустынными улицами, как в детстве заглядывала в щели заборов, разглядывала ветви в тяжелых желтых яблоках, вслушивалась — не упадет ли. Когда одно упало, она вздрогнула, так, наверное, падает сердце. Женщина с коромыслом, шедшая навстречу, остановилась, уступая дорогу. Таня сказала «спасибо»; ведра были полными.

Она давно не была на этих тихих окраинных улочках и сейчас с особым удовольствием вдыхала их утренние запахи — покрытых росой фруктовых деревьев, парного молока и еще чего-то колюче-свежего, чем пахнут в сентябрьском прохладном утре деревянные тротуары.

Вокзальчик был каменный, красного кирпича. Из поездов дальнего следования останавливался только этот, на котором прибывала Зойка. Таня присела на скамейку у бочки, врытой в землю. Бочка была с водой, в ней плавали окурки. Таня подумала о том, что Зойка, когда приезжает, наверное, курит у этой бочки и на нее с неодобрением смотрят прохожие.

Поезд стоял три минуты. Таня сразу увидела Зойку. Она соскочила с подножки, оглянулась назад, помахала рукой и с улыбкой, предназначенной кому-то в вагоне, чуть не прошла мимо. Потом увидела, подняла брови и, не здороваясь, сказала на ходу:

— Ну пошли, раз пришла.

Таня не обиделась: от Зойки никогда не знаешь, чего ждать.

— Ты послала близнецам деньги? — спросила Зойка, когда они молча прошагали полдороги.

— Боже, какая забота!

Зойка остановилась, очнулась от своих мыслей и засмеялась:

— Не сердись. У меня сейчас хорошая встреча была в вагоне.

Час спустя, когда они сидели за столом у самовара, Зойка рассказала об этой встрече. О девушке, которая прислала письмо в редакцию: «Если есть на свете такой обман, то зачем тогда жить?» Зойка помчалась к ней. Отчаяние в письме оказалось подлинным, девчонка была в шаге от беды. Не такая уж редкая история: он ушел в армию, она написала ему, что будет ребенок. Ответ: «Откуда я знаю, что это мой».

— И что ты сделала? — спросила Таня.

— Написала письмо командиру части. Попросила представить, что брошенная девчонка его дочь. И вот в вагоне, представляешь, сидит моя девчонка — толстощекая, белозубая, держит на коленях в капюшончике другую девчонку, и муж рядом, такой же толстощекий дурачок. Все у них в порядке, и никого они не замечают.

Таня слушала внимательно и печально.

— Я на месте этой девчонки никогда бы его до конца не простила.

— А она, возможно, и не простила... Я первая ее узнала, говорю: «Здравствуй, Леночка». Она вгляделась в меня, ребенка прижала к себе и как заплачет. Я даже испугалась. Потом успокоилась, мужу говорит: «Это та самая Зоя Николаевна». Девочка проснулась, она ей: «Познакомься, Наташенька, это тетя Зоя...»

Зойка вдруг заплакала, закрыв лицо ладонями, Таня растерялась:

— Устала ты, Зойка. Мотаешься, едешь, а своей жизни как не было, так и нет.

Зойка подняла мокрое от слез лицо:

— Какой жизни?

— Обыкновенной. Семейной.

— Зачем ты так? Чего нет — того нет.

Таня не умела быть жестокой, но тут что-то дернуло за язык.

— Была, а ты ее пустила по ветру. Помнишь, мне говорила, если сманит Диму какая-нибудь молодка, ты мне этого не простишь. Что ж своего отпустила?

— Володю, что ли? Брось, Танька, не знаешь ничего и не знай.

Они посмотрели друг на друга с изумлением: что это мы сегодня так недобро? Зойка первая догадалась:

— Пусто у тебя стало, непривычно. То, бывало, близнецы, как телята, головы тянут. Димка что-нибудь веселое изрекает. А сейчас мы одни с тобой сидим вот и жизненные бабки подбиваем,— Зойка жалко улыбнулась, достала сигарету.— Вот так-то, подруга...

В обед пришел Дмитрий. Таня побежала растапливать колонку в ванной, Дмитрий в посках, в клетчатой мятой рубашке прошел в столовую.

— Давненько не была. Заждался,— он протянул Зойке руку.— Сама, что ли, жалобы сочиняешь, чтобы лишний раз сюда наведаться?

— На тебя, что ли, посмотреть?

— А что, и посмотреть не на что?

— В зеркало погляди, и вопрос сам собой, как у вас на бюро говорят, исчерпается.

Раздался Танин голос:

— Вы же вроде интеллигентные люди, и даже с высшим образованием, а встретитесь и ругаетесь, как тракторист с учетчиком.

— Слыхала? — Дмитрий кивнул в Танину сторону.— Голос из гущи сельской жизни. И откуда бы ей знать про тракториста и учетчика?

— Очень уж ты зазнался,— сказала Зойка,— так пышно зазнался, с чего бы?

— А вот сейчас узнаешь с чего,— Дмитрий выскочил в коридор, вернулся с пиджаком, вытащил телеграмму.— Читай вслух.

— Да, мне Таня по телефону читала.

— Ну, и какие выводы?

— Правильные.

— Водочку?

— Зойка, не поддавайся, у него коньяк есть,— снова послышался Танин голос.

— Ах, какой жмот,— возмутилась Зойка,— дети у него студентами стали, а он жмотится.

* * *

В понедельник на рассвете они уехали. Таня закрыла за ними дверь и пошла досыпать. Машина, вспугнув дворовых кур, выскочила на шоссе и понеслась по ровной бе-

тонной дороге, мимо прудов и березовых рощиц. Дмитрий сидел рядом с шофером, вполоборота к Зойке, его четкий, с крутым подбородком профиль сливался с голубым смотровым стеклом и казался на нем нарисованным.

— Не спишь? — спросил он Зойку. — Ты, когда вернешься, поговори серьезно с Таней. Надо ей подумать о работе. Не хочет в школу — можно в детский сад. Трудно ей сейчас без мальчишек.

— И тебе трудно без близнецов, — сказала Зойка, — тебе и на работе, наверное, часто бывает трудно...

— Как всем, — ответил он и замолчал.

Они ехали в два дальних колхоза. Зойка с редакционным письмом — в один, Дмитрий — в другой.

— Когда-нибудь, когда тебе надоест мотаться по дорогам, — сказал Дмитрий, — ты приедешь к нам в район, и мы сосватаем тебя в бригады.

— Когда-нибудь я буду уже такая старая, что, когда приеду сюда, заведу козу и мальвы под окном. Близнецы привезут мне своих детей, я буду укачивать их и сочинять сказки.

До колхоза, в который надо было Зойке, оставалось шесть километров.

— Дальше не надо, — попросила она шофера. — Хочу пройти по этой лесополосе, я ведь когда-то о ней писала.

Дмитрий сказал:

— Мы вернемся другой дорогой. Ты уж там от моего имени попроси председателя, чтобы доставил обратно.

— Хорошо, — ответила Зойка, — председатель меня, наверное, помнит.

Она свернула с дороги и вошла в лесополосу. Пожелтевшие остролистные клены накрыли ее своими шатрами, колючие ветки кустарников иногда цеплялись за плащ. Зойка шла не спеша и жалела о том, что не вышла из машины раньше, так хорошо было идти по осенней, в солнечных пятнах тропке, загороженной от дороги большими деревьями. Было одиноко, легко и не страшно. Зойка все шла и шла, а лесополоса все бежала вдоль дороги, все рядом, рядом...

Тата

Больше всего Зойка переживала из-за мужа. Как бы Павел каким-нибудь словом не обидел Тату, не разбил их многолетнюю дружбу. За своего сына, второклассника Коську, она была спокойна. Коське Тата правилась. Он ходил за ней следом и задавал непринятые вопросы:

— А правда, что Маяковский застрелился?

Зойка холодела от таких вопросов и придумывала сыну поручения, стараясь услать из дому. Она охраняла сына от Татиного осуждения. «Талантливый человек проявляется в детстве», — говорила Тата. К Коське это не относилось. И Зоя про себя терзалась.

Гостя не признавала обедов. Зойка давала мужу деньги и длинный список в кондитерский отдел. Коська ликовал. За одно это можно было полюбить Тату. Многое ему нравилось в ней. Бабушка, а все зовут просто по имени. Нравился ее красный зонтик, и ее голубенькие с цепочкой часики, и маленький фотоальбом, который закрывался на ключик. Для Таты утром варил кофе, и Коська сам нес маленькую чашечку на веранду. На чашечке был нарисован Пушкин в детстве. Тата привезла ее из Москвы. Коська нес чашечку, как перо жар-птицы. И Тата ему говорила:

— Спасибо, мой друг.

Когда Коська вырастет и поедет в Москву в институт, он будет жить у Таты. Это она ему сама пообещала. Коська сказал матери об этом с восторгом. «Пусть он не талантливый, — успокаивала себя Зойка, — но он тянется к интеллигентным людям, понимает настоящую культуру. В такой среде он растет, что негде черпать талантливость. Мать — плановик, отец — прораб. И живут они на окраи-

не города: в Коськином втором классе все дети портовых рабочих».

К приезду Таты Зойка купила четыре дорогих простыни из льняного полотна. Свою кровать они с Павлом вынесли в Коськину комнату. Втроем все воскресенье мыли, скребли, перетрахиwали квартиру. Встретили Тату ночью с букетом пионов.

— Я слышу море,— говорила Тата, когда они шли домой (от такси она отказалась),— я слышу его волнующий призыв.

Павел сказал по дороге:

— Вот этот дом — экспериментальный. Его сдавали с готовой мебелью. Таких домов нигде нет.

Зойка подумала: брякнул. Тату этим не удивишь. Она побольше нашего видела в своей жизни.

— Зочка,— сказала Тата,— разбудите меня завтра пораньше,— я хочу встретить рассвет у моря. Это будет жwвой Айвазовский.

У крыльца их дома она взмахнула сухонькой ручкой и продекламировала:

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита.

Сонный Коська рассмеялся. Зойка дернула его за воротник.

Утром Тата не пошла к морю. «Всю ночь не сомкнула глаз,— сказала она,— вся жизнь прошла перед глазами. Где я? Что со мной? Куда занес меня мой ветер?» У нее был свой ветер. Она могла бы стать поэтессой. Зойка знала об этом, еще тогда, когда была маленькой. К ним в дом приходили известные писатели и поэты. Зоя видела, как, прощаясь, они целовали Тате руку. Их квартиры были напротив, и, когда у Таты собирались гости, Зойка выходила на площадку и слушала музыку. Там всегда играли на пианино.

Зойка росла, переходила в следующий класс, а музыка все играла за дверью, и Зойка по привычке останавливалась перед дверью Таты и слушала.

Их московский дом был старый, с маленьким двором, перечеркнутым бельевыми веревками. У последнего, законченного наглухо подъезда на низком крыльце лежала мраморная голова с острым крючковатым посом. Говорили, что это Вольтер, Зойка не знала, кто такой Вольтер.

Голова ее не занимала. Отодвинув фикус, она глядела из окна на Тату. Худая, с короткой стрижкой, в желтом платье с меховыми манжетами, она выходила во двор с книжкой. У ворот рос тополь, а под ним скамеечка. Тата садилась под тополем и раскрывала книгу. Спина ее оставалась прямой, и от этого казалось, что Тата осуждает все то, что ей приходится читать. Ребята не обращали на нее внимания. Когда они родились, Тата уже сидела под тополем с книгой. Замечали ее, как и голову Вольтера, только чужие люди.

В третьем классе Зойка случайно узнала, что Тата была воспитанницей одного старого очень известного когда-то поэта. У него были взрослые сыновья, и поэт мечтал, чтобы младший, любимый его сын, женился на Тате. Но революция перепутала эти планы. Сыновья поудирали за границу, а особняк, в котором остались поэт и Тата, конфисковали. Последние годы своей жизни поэт жил в Зойкином доме. После смерти он, как говорят соседи, оставил Тате большие ценности. Зойка не верила, что худая образованная Тата богачка. Она видела, как гости приносили ей свертки, от которых пахло то рыбой, то каким-то ужасным сыром. Однажды Зойка увидела во дворе в толпе соседок маленького старичка. Он был сотрудником музея. Зойка узнала, какие ценности хранятся у Таты. Это были старинные рукописи и другие документы литераторов прошлого века.

Соседи не любили Тату. Они не судачили о ней, но по их глазам было видно: не любят. Зойкина учительница жила в этом же доме.

— За что вы не любите Тату? — набралась однажды храбрости Зойка.

Учительница ответила: за то, что сама Тата не любит никого.

— Почему же к ней приходят люди?

Учительница ответила очень страшно:

— Они приходят не к ней, а в ее квартиру.

Учительница просто завидовала Тате. У нее было двое детей и больной муж. Вместе с домохозяйками она развешивала на веревке белье и срывала его, кидая на плечо, когда начинался дождь. А Тата выходила на балкон с зонтиком, и стояла под дождем, и видела что-то такое, чего ее соседки вовек не увидят.

Зойку в школе премировали путевкой в лагерь. Мама

пошла ей три сарафана и купила белые сандалеты с дырочками. Лето сулило Зойке много радостей. И тут началась война. Ушел на войну старший Зойкин брат Коська. Говорили, что скоро всех будут эвакуировать. Зойка дежурила на крыше и не верила, что придется покидать Москву. В день их отъезда в Татиной квартире гремело пианино. Музыка, тревожная и торжественная, словно обвиняла Зойку. «Ты уезжаешь, ты сдаешься. С какими глазами ты будешь возвращаться в этот дом?» Музыка зря укоряла Зойку, в свой дом она больше не вернулась.

Она прожила все годы войны в Томске. В узкой проходной комнатке, через которую ходили четыре эвакуированные семьи. У них с матерью была одна кровать. Когда мама заболела, Зойка лежала на полу, и через нее переступали возвращавшиеся с ночной смены соседи. Мать умерла, так и не увидев «похоронки». Зойка носила ее на груди, в лифчике. Коська погиб под Сталинградом. На всем свете у нее не было больше родных. И тогда она вспомнила о Тате. Она и до этого вспоминала ее. Но теперь она стала думать о ней как о родном человеке. Тата была далеко. Она и до войны была далеко. В необыкновенном мире изысканных вещей и разговоров, к которому всей душой тянулась Зойка. Старый двор стал вспоминаться, как потерянный рай. Там осталось ее детство, блаженные минуты, когда она, отодвинув фикус, следила за Татой.

Зойка отправила письмо. «Извините меня, что беспокою Вас, — писала она, — мама моя умерла, брат погиб на фронте. Одна Вы у меня теперь остались. Если кто-нибудь занял нашу квартиру, пусть живет. Я сейчас работаю на заводе. Живу хорошо, по карточке получаю каждый день 800 граммов.

Если нетрудно, то напишите мне ответ. Тогда я про всю свою жизнь напишу более подробно. Преданная Вам Зоя».

У нее холодела спина от мысли, что ответ может прийти. Что Тата вспомнит ее и станет переписываться. Смешно вспомнить: она три дня не вскрывала Татино письмо. Оно стояло на тумбочке, прислоненное к кружке, как фотография. Тата прислала длинное письмо. Она подробно рассказала о незнакомых Зойке людях. Некоторые из них приводили Зойку в священный трепет: их фамилии она слыхала по радио, видела на обложках книг.

«Я не могла покинуть Москву, — писала Тата, — весь

мир, вся моя жизнь — это моя квартира с ее дорогими сердцу вещами. Я, как солдат, охраняю этот мир от нашествия варваров».

Письма от Таты приходили не часто. По праздникам она присылала открытки. Ко дню Зойкиной свадьбы Тата прислала свое стихотворение, заканчивалось оно так:

И когда тебе, Зоя, взгрустнется,
Ты подумай, что все пустяки,
И пусть сердце твое улыбнется,
Как весенней порою цветки.

— Почему ты должна думать, что «все пустяки»? — спросил Павел.

Зойка не стала ему объяснять. Он строил дома и в поэзии не разбирался.

Перед Новым годом, первым Новым годом в их жизни, Зойка и Павел послали Тате первую посылку. Мандарины, лимоны и конфеты.

— Она старенькая, она, знаешь, как обрадуется, — говорила Зойка мужу, — и потом, она не на словах, а на деле должна знать, что мы живем хорошо.

* * *

Зойка боялась, что Павел сорвется. Тата жила у них уже второй месяц. Спокойный, молчаливый Павел стал раздражительным. Его возмущало, как Зойка и Коська служат Тате:

— Обыкновенная женщина, что вы с ней носитесь?

— Необыкновенная, конечно, твоя Симакова, — многозначительно щурила глаза Зойка.

Симакова работала на стройке бригадиром. Ее портрет печатали во многих газетах. До приезда Таты она иногда приходила в их дом. Громко рассказывала о делах на стройке, снимала под столом туфли и пила чай вприкуску. Других пороков Зойка при всем желании в ней найти не могла. Симакова была красивая: смуглолицая, с белыми, как снег, зубами и с тяжелой, как попало закрученной на затылке косой. Зойку иногда точила ревность. Рядом с Симаковой она казалась себе дурнушкой. Зойка радовалась, когда Павел одобрительно говорил о Симаковой: бой-баба. Так не может сказать мужчина о женщине, если она ему хоть чуточку нравится.

Зойка думала, что Павел нервничает из-за того, что приезд Таты поломал их домашний уклад. Летом они раза два в неделю ходили вечером к морю. Гуляли по набережной, иногда купались. По воскресеньям обедали вместе не в кухне, как обычно, а на веранде. Зойка надевала хорошее платье. Коська добросовестно умывался, расставлял на столе посуду.

Тата своим появлением не только перечеркнула эти маленькие семейные радости, вместе с ней что-то чужое и трудное вошло в дом.

— Посмотрите, Зочка, как рассвет крадет у ночи ее темноту.

Зойка закинула голову и увидела черные облака, через которые пробивалось небо.

— А вы представьте себе: там летит ракета. И человек под звездами ночью, и земли не видеть...

— Зачем мне это... — удивилась Тата и ушла в дом.

...Павел и Зойка шли по тихой утренней улице на работу.

— Ты пойми, — убеждала Зойка мужа, — она ведь одинокий и несчастный человек. Она мне все рассказала. У нее нет друзей. Все ее московские знакомые — это завистливые и жадные люди. Они спят и видят, чтобы завладеть ее архивами и на этих архивах обеспечить себе карьеру. Когда-то, благодаря ей, они проникли в мир искусства. Она открыла им дверь туда. Они вошли в доверие к ее приемному отцу. А чем отблагодарили? Они вывели ее из членов литфонда.

Зойка не знала, что такое литфонд. Но никто не имел права выводить Тату из него.

— По-моему, она очень хорошо и сама умеет войти в доверие, — отвечал Павел, — знаешь кто она? Приживалка.

Зойка в ужасе закрыла глаза. Вот оно то слово, которое может Павел сказать Тате. С него станется.

— Потерпи, — сдалась она и, оглянувшись по сторонам, чувствуя, что предает Тату, сказала шепотом: — Не вечно же она будет жить у нас.

Павел по-своему жалел Тату: подумать только, ни одного дня в жизни не работала. Недавно она раскладывала на столе пасьянс и вдруг заплакала. Павел подбежал к ней, взял за плечи и почувствовал, какая она маленькая и ветхая. Спросил:

— Что случилось?

Тата отодвинулась от него, вытерла лицо платочком и попросила:

— Скажите, мой друг, Зоечке, что я уже третий день не получаю кофе.

Кофе был на Коськиной совести. Зойка и Павел ухаживали на работу очень рано.

— Черт знает, что такое,— взорвался тогда Павел,— кофе не могут купить.— Он сам сходил в магазин и принес пять пачек.

Первые дни Зойка пыталась поговорить с Татой о прежней, довоенной жизни. Тата помнила только голову Вольтера, а о соседях не знала ничего.

— Я, Зоечка, не вникаю в эти дела. Живут, уезжают, а кто, зачем? Откуда мне знать.

Зойка спросила:

— А вы помните моего брата Коську? Вы его всегда посылали за нарзаном в аптеку.

— Как же, как же,— сказала Тата,— у него были прекрасные, неуловимого цвета глаза.

Больше Зойка ни о чем не спрашивала. Глаза у Коськи были пронзительно-синие.

Вечером, за чаем, Тата говорила Павлу:

— Я советую вам поехать в Пятигорск. Там недалеко есть место дуэли Лермонтова. А в вашем городе есть исторические места?

Павла обижали такие речи.

Его город был историческим до последней песчинки. Если сесть на катер, то можно доехать до легендарной Малой земли. Но что этой старухе до Малой земли, если на ней не стреляли в Лермонтова.

Симакова пришла неожиданно.

— О! У вас гости! — Вбежала на веранду и протянула руку Тате.— Так вы и есть та самая гостья из Москвы?

Тата не разделяла ее восторгов. Сказала, что плохо себя чувствует, и ушла в дом. Через час, когда Симакова, Павел и Зойка чаевничали на веранде, Тата позвала Зойку:

— Простите меня, Зоечка. Я все понимаю. Я вам мешаю. Но это теперь уже совсем недолго. Если можно, принесите мне со стола кусочек хлеба и один кружочек колбасы.

Зойка обомлела.

— Как так можно, Тата! Я вас не беспокоила, думала, уснули. Идите к столу.

— Нет, нет. Кусочек хлеба, и, если можно, пусть будет тихо.

Симакова ничего не знала. Она пила свой чай вприкуску и хохотала, как оркестровая труба. Намека Зойки: вам завтра в какую смену? — она не поняла. Зойке пришлось сказать:

— Тата заболела. Давайте потише.

После этих слов Симакова ушла. Зойка поняла: обиделась.

* * *

Все воскресенье бушевало море. Волны мыли набережную, как станичные рыбачки полы, песком. Ждали норд-оста. Но он не состоялся. Рухнувший с небес сплошной поток воды, казалось, успокоил ветер, расчистил путь солнцу.

Утром Зойка улыбалась, глядя в окно. Наверное, все в отделе завидуют ее месту. Так уж хорошо получилось. В тот день, когда заселяли новое заводоуправление, она не стала ждать, когда принесут столы. Спустилась вниз, попросила какого-то парня помочь, и они вдвоем втащили стол и поставили его у окна. И вот теперь она поглядывает на искрящуюся после ливня листву заводского двора, на притихших после вчерашних страхов голубей.

За фанерной перегородкой сидел начальник планового отдела. Когда он поднимался со стула, перегородка заканчивалась на его шее. Практикант Володя шептал Зойке: «Дорогие дети! Сейчас мы начнем наше представление». Зойка прыскала, опустив голову. Ей тоже напоминало это кукольный театр. Начальник любил внезапно подняться и оглядеть всех. И тогда Зойка вспоминала своего школьного учителя физики. У него была точно такая привычка. Писать на доске и вдруг оглянуться: что там подделывают сорванцы за моей спиной.

На этот раз он не поднялся.

— Зоя Константиновна, — раздался его голос за перегородкой, — вас вызывают на проходную.

Зойка с радостью выбежала во двор. Асфальт уже высох, но сырой лесной запах хранил в себе недавнее буйство природы. Хотелось кому-нибудь сказать: «Посмотрите, как солнце крадет у грозы ее красоту». Но кому скажешь? Не этому же мальчишке, который вышел из отдела кадров с постной физиономией. Увидеть, как солнце крадет у грозы красоту, могла только Тата.

Пожилая женщина в синем берете спросила:

— Тургенева, дом шесть?

Зойка сначала не поняла, потом догадалась, что называют ее адрес.

— Да. Я там живу.

Женщина спешила, а может, она Зойке уже не первой излагала суть дела:

— Вчера, знаете, что было? Знаете. Ящик на Приморском бульваре сорвало ветром, и он два часа пролежал в луже. В силу этого обстоятельства я выпущдена разыскивать отправителей.

— Какой ящик?

— Господи! — Женщина посмотрела на вахтера, ища поддержки. — Ну, чего же тут непонятного? Почтовый ящик сорвало и бросило. Вы где вчера были, что ничего не заметили?

Зойке показалось, что она поняла.

— Нам письмо?

— Да не вам письмо. А из вашего дома отправлено. Согласно обратного адреса: Тургенева, дом шесть.

Женщина достала из сумочки конверт с размытыми буквами. Протянула его Зойке:

— Ваше? — Женщина опять обратила свой взор к вахтеру. — Я это письмо свободно могла им в ящик бросить. Но вдруг это не ихнее письмо. Сын говорит: вроде дом шесть. А может, и не шесть. Это только почтовые работники понимают, что недоставленное письмо может которому человеку всей жизни стоить.

— Не сердитесь, пожалуйста, — сказала Зойка. — Это действительно письмо из нашего дома. Мне, наверное, надо за него расписаться?

— Не надо, — вздохнула женщина и ушла.

Зойка присела на скамейку. Тате она не скажет, что доставала листки из конверта. Кто такая Марьяша? Зойка о ней ничего не слыхала. Тата писала на одной стороне листа, и размытые строчки можно было прочесть.

«Хорошая Марьяша! Я, как язычница, обожаю природу и в ней только в одной ищущу и нахожу утешение. Люди, не замечающие шороха трав, морского прибоя, цветка на обочине дороги, не могут называться людьми. Небо продолжает испытывать меня, Марьяша. Люди, среди которых я нахожусь, лишены элементарного чувства прекрасного. Утром один из них говорит: Павел, скорей за-

правляйся, мы опаздываем. Они заправляются едой, как машины бензином.

Я понимаю, Марьяша, людей, которых обошло восприятие красоты в силу разных жизненных обстоятельств. Но зачем они калечат ребенка, это хрупкое существо с голубыми глазами. Мальчик может у них сказать: «Мы сегодня с Татой законно погуляли». Честно говоря, я не должна осуждать этого мальчика. Он всего-навсего крючок, на который должна клюнуть московская рыбка Тата. Это люди себе на уме, Марьяша. Тот же вариант, который хотели со мной проделать Кузнецовы. Мальчик приезжает учиться в Москву и занимает мою квартиру. Надеюсь, все ясно.

Пишу тебе в полном одиночестве. Мои хозяева на веранде принимают гостей...»

Куда девался страх за Павла, который может брякнуть: приживалка. Не надо больше страдать за Коську. Сухими, трезвыми глазами читала она мутные строчки, и тяжесть последних дней освобождала грудь. И лицо горело, как от пощечин.

Она отпросилась с работы.

Коська сидел на крыльце и не заметил остановившихся глаз матери, ее, как после сна, осипшего голоса.

— Тата на набережной, — крикнул он, — она сказала, что соскучилась по Москве. Хочет уезжать.

Зойка вышла к нему с деньгами в руках:

— Ты сейчас пойдешь и купишь ей билет. Она уедет сегодня.

— Мама, ты что?

— Иди и купи ей билет.

Коська никогда не покупал билетов. Никто ему и не продаст. Зойка с трудом это поняла, взяла сумку и пошла на вокзал.

Тате билет она вручила вместе с письмом.

— Я не ошиблась, — сказала Тата, — читать чужие письма тоже в вашем характере.

Провожал Тату Коська. Он нес за пей баул и картонку. В вагоне, забрасывая вещи на багажную сетку, он с удовольствием выкрикивал:

— Баул! Теперь картонку!

Два новых слова подарила ему на прощанье Тата. Два старых слова, которые он в тот же вечер забыл.

Каторжник

Жена ходила по дворам и всякому, у кого бывала охота слушать, жаловалась: «За что такое терплю — сама не знаю. Это не человек, я людей, слава богу, видала и вижу, таких, как мой каторжник, на свете не бывает».

Была она круглая, малорослая, косу закручивала высоко на макушке, глазки, подпертые снизу щеками, глядели вприщур, не мигая. Добрые люди вздыхали, кивали, поддакивали; недобрые — втягивали ее в разговор.

— Когда же он каторгу отбывал?

— Через мое дурное и благородное сердце не отбывал. — Жена снижала голос, сообщала по секрету: — Полтинники в Ташкент мешками возил. Один раз забрали, так я, дура, — одного на руки, двоих за руки, еще двоим по подолу в руки, пришла, выручила. Слезами своими кровавыми выплакала. А все равно каторжник. Это, если понимать, не от жизни зависит, а от судьбы, кому что на роду написано.

От нее запирали калитки, посылали во двор детей крикнуть, что никого нет дома. Она усаживалась на скамейку с улицы, высматривала прохожих. Останавливала незнакомых людей. Начинала издалека: «Тут у нас, как в деревне, травка на дороге растет, ни машин, ни трамваев. Погода стоит, сердце веселит, а я слезы с утра до вечера лью, через своего каторжника...»

Соседки пытались образумить ее: «Целый ведь день, Никитична, палец о палец не ударяешь, о детях бы вспомнила».

— Детей не трожьте, — кричала она, — дети за меня. Дети все видят, все понимают.

Детей у них было семеро. И все мальчяки. Старшие

никогда не подходили к ней на улице, проходили, не глядя. Двое младших близнецов какое-то время бегали за ней, пока не взяли пример со старших.

Уводил ее с улицы муж, тот самый Каторжник, которого она целый день славилась. Он шел по улице, опустив тяжелое темное лицо вниз, и она безмолвно спешила ему навстречу. Говорили, что дома он бьет молотком по пальцам каждого, кто скажет хоть одно-разъединственное слово, а жена стоит у него перед кроватью на коленях с горящей свечкой в руках, пока он не уснет. Впрочем, говорили это дети. Но не сами же они такое выдумали.

Дом их стоял в глубине двора, из-за деревьев с улицы не был виден. Зимой из-за кучи сугробов виднелась лишь черная, обмякшая, как гриб, крыша, над которой не всякий день вился дым. Устой на улице были суровые, в душу друг к другу соседи не лезли, но этот многодетный ветхий дом вызывал и любопытство и пересуды. И еще жалость.

Мы жили на другом конце улицы, и я помню, как четверо мужчин тащили за оглобли от дома к дому конные сани, и хозяйки выносили в ведрах уголь и сыпали в стоявшие на санях мешки. Потом этот уголь везли к дому Каторжника. А весной был однажды такой же сбор картошки, только на этот раз ходили по домам женщины.

Люди делали это не для благодарности, но все-таки доброго слова ждали. Но Каторжник по-прежнему проходил, не поднимая глаз, а жена его, подстегнутая людским сочувствием, пуще прежнего жаловалась на свою судьбу.

Каждое воскресенье Каторжник подавался на базар, продавал всякую рухлядь: старые замки, болты, охотничьи пыжи, гвозди. Зимой и весной в конце барахолки, у самого забора, было его постоянное место. Летом перекочевывал в ряды, где торговали овощами. Скупал в конце дня вялые, залежавшиеся овощи на засол. В воскресенье катил на базар тележку с высокой бочкой, в которой бултыхались желтобокие малосольные огурцы.

— Ему бы в коммерцию, — сообщала на улице жена, — он бы все как есть продал. Рука тяжелая, а на барыш легкая. Недолго мне осталось мучиться: разужнаю, где деньги хоронит, обуюсь, оденусь, и ни одна собака меня в этих краях не сыщет. Денег у него, люди, страшная сила.

— А детей куда?

— Детей с собой. Обую, одену и с собой. — Она провешиваясь вглядывалась в лица слушающих и сообщала, как великую тайну: — Детям мать — закон, она их по девять месяцев в себе вырашивает. А уж как они от нее отделятся, обязаны ей служить.

Считалось, что дети в их семье пошли в отца. Такие же — глаза в землю, ни здравствуйте людям, ни до свиданья. Я плохо помню старших. Они заканчивали по семь классов и уходили работать на железную дорогу. Покупали себе сапоги, черные суконные гимнастерки, в руках появлялась шарманка — железный дорожный ящичек, черный от сажи и машинного масла. Возле их калитки зияли черные квадраты на снегу — следы шарманок.

В последний предвоенный год узнала я фамилию Каторжника — Макаров. Двое младших, близнецы Доля и Алеша, закончив семилетку, перевелись в нашу школу, и в восьмом классе мы учились вместе. Полное имя Доли было Ардальон. Братья сидели на первой парте, стриженные «под нулевку», узкоплечие и безмолвные. На перемене стояли у окна в коридоре, по-прежнему затылком к нам. Алеша был покрепче и побольше брата, хотя оба не отличались ни ростом, ни силой.

Я бы никогда не побывала в их доме, если бы вдруг среди зимы они оба не исчезли. Первая парта пустовала несколько дней. Учительница спросила:

— Кто живет недалеко от Макаровых?

Я встала.

Вечером пошла к таинственной и страшной калитке и черным квадратам на снегу. Шла по двору, по широкой расчищенной дорожке, и в ушах отдавался стук моего трусливого сердца. Потом не раз в ушах раздавался этот стук, но впервые он родился в тот зимний вечер, во дворе Каторжника. Дом был окружен голубыми сугробами, окна темны. В сарае, в стороне от дома, через щели двери пробивались желтые полосы света. Свернула туда, крикнула: «Здравствуйте, я из школы». Кто-то из старших братьев выглянул из сарая, ветер задул свечку, которую он держал. Я почувствовала, что пропадаю от страха: со свечкой по преданиям нашей улицы стояла на коленях жена Каторжника, дожидаясь, когда тот уснет.

— Иди сюда, — голос был утробный.

Я не пошла. Свечку вновь зажгли в сарае. Высокий лохматый парень с ведром угля вышел мне навстречу.

— Я из школы,— громко повторила я: не по своей же я воле пришла сюда, и, если из этого разбойничьего гнезда не выберусь, то, может, кто-то услышит, что я погибла, выполняя поручение.

Парень с ведром обогнул меня и пошел, ничего не сказав, к дому.

— Скажите, почему братья Макаровы не ходят в школу?

— Не ходят, значит, не могут. А ты кто?

— Меня послали.

— Скажи, что болеют. Простудились и заболели.

Страх отпустил меня. Я уже собралась уходить — почему не ходят Макаровы? — потому что болеют — так и скажу завтра учительнице. Но тут от сарая отделились вприскок две тени, приблизились ко мне, и я узнала близнецов.

— Бессовестные! — повернулась я к ним. — Уроки пропускаете и врете, что заболели. — Такой у меня характер с детства: вдруг отчаянная храбрость тут же заполнит то место, где только что жил страх. Я повернулась и пошла к крыльцу. Говорить с близнецами о их поведении не имело смысла. Надо все выяснить с родителями.

Близнецы не обгоняли меня. Постукивая ботинками, стояли за моей спиной, пока я шарила в темноте сеней, нащупывая дверную ручку. Яркий электрический свет ударил мне в лицо. И это очень удивило, я приготовилась шагнуть в темноту.

Первая комната была кухней. С русской печью посреди, с длинным столом, покрытым клеенкой, вдоль стены, с тремя маленькими окнами. На табуретке в углу стоял питьевой бачок с краном. У печки шуровал кочергой старший брат, тот, что встретился мне во дворе.

— Зачем же вы сказали, что они заболели?

Он обернулся, взгляд его прошил меня недобрым огнем черных глаз. Близнецы стояли рядом, не решаясь двинуться с места.

— Сказано заболели, значит, заболели.

Его слова означали — уходи, чего стоишь. Я уж и решила уйти, но тут на кухне появилась Никитична. Лицо у нее было сонное, но глаза сияли, предвкушая разговор.

— Миленька моя, — она словно ждала меня и испугалась, что я могу уйти, не дождавшись ее, — деточка моя, садись сюда, не обращай внимания на этих лешаков.

Они давно все составили, как мать извести, чтоб, значит, се пикуда не пускать и к ней никого.

Близнецы и старший брат переглядывались между собой, я поняла, что уйти уже невозможно, и присела к столу.

— Ты про Дольку с Алешей пришла узнать? Так Сергей правду тебе сказал — заболели. Чирья у них пошли ниже спины. — Она хихикнула и погрозила старшему сыну пальцем: — Так бы и сказал, что чирья. И никакого сраму тут нету, чирья, они где хочешь могут прикинуться.

Близнецы, опустив головы, ушли из кухни. Сергей сел напротив матери и стал глядеть на нее в упор своими жгучими глазами. Никитична приняла вызов, говорила со мной, а взгляд не отводила от сына, дескать, ты на меня глядишь и мне на тебя не запрещено.

— Они с малых лет так — Долька с Алешей — один кашлянул, и другой тут за ним, один коленку или еще что зашибет, и другой следом это же самое место себе расквасит. А ты с ними в одном классе? Ну, расскажи мне, как они в учебе идут.

Она спрашивала, но ответа слушать не желала, говорила сама, иногда бросала быстрый взгляд на дверь, будто боялась, что кто-то войдет и прервет ее рассказ.

— Я их рожать не собиралась, куда мне столько. А потом подумала. Ай, будет девочка. Девочку хотела. Подрастет — косы заплету, посажу рядом, про свою долю расскажу. Девочки понимают женскую долю. А родились опять мальчишки — и два сразу — куда их? Не выкинешь.

Черные глаза Сергея уставились на меня. В них горела ясная, неприкрытая ненависть: уходи, не видишь разве, что она ненормальная. Я и сама подумала, что она не в своем уме. Никитична что-то уловила в моих глазах, прервала рассказ, махнула короткой ручкой на сына:

— Иди отсюда, лешак! Не студи сердце. Я тебя девять месяцев таскала не для того, чтобы ты меня живую в гроб укладывал.

Сергей поднялся и вышел. Никитична поудобней устроилась на стуле, согнала с лица тень и, безмятежно улыбаясь, обратилась ко мне:

— Я их нисколько не боюсь. Что они мне могут сделать? Ничего не могут. Я им мать, каждая клеточка у них моей кровью заполнена.

За окном стояла темень. На пащей окраинной улице

не было фонарей, во многих дворах зимними ночами спускали с цепей собак. Я слушала Никитичну и ежилась, представляя, как пойду домой по черной вымершей улице. Но слова этой жеппицы словно держали меня, я слушала ее и уже не думала о том, что она не в своем уме, просто странная, не похожая на других. Из всего многоцветья ее слов проглядывала реальная картина их жизни — последние три года живут не хуже людей, сыновья зарабатывают, самый старший отделился, взял себе жену и живет на станции Ипская, сын, что следом за ним — в Москве, в институте учится. А трое работают на железной дороге. Все бы было хорошо, кабы не муж ее, Каторжник. Через него живут они словно в погребе. Деньги он у сыновей отбирает, ей запрещает появляться на людях. Одним словом, Каторжник, — и ничто его уже на этом свете не выправит.

— Ты и не поверишь, миленькая моя, сколько я с ним горя в жизни набралась. Он же все с выдумкой: как бы ему людей обдурить, чтоб, значит, и в тюрьму не угодить, и карман денег занять. Поженились — я первого, Ивана, родила. Привез он меня в деревню, а сам, смотрю, куда-то налаживается. «Куда, друг любезный?» — «На Кубань». Что он там, на Кубани, забыл — не говорит. Родня его объяснила — поедет на заработки, там, значит, разбогатеет, вернется — дом поставит. Ну, и поехал. А тут революция. У нас собрания, люди приезжают, я с Иваном на руках мотаюсь туда-сюда, ничего не понимаю. А есть нечего. Обносились, никто и молодой не признает. Тут тетка его бежит: «Езжай в Убинку, твой посылку прислал». У меня аж сердце зашло. А на чем езжай? Ивана на руки — и сорок верст пешком, в стогу ночевали. Добралась до Убинки, дом тот нашла. «Где посылка?» — «А тут, отвечают, где-то лежит». И дают мне пакетик, марлей обшитый. Нитки выдернула, развернула — восемь воблочек, одна к другой, как камушки... И вернулся с пустыми руками. Деньги куда-то заховал.

Дверь скрипнула. Никитична вздрогнула и замолчала. Запорошенный снегом, с багровым с мороза лицом на пороге появился Каторжник. Я впервые увидела его вблизи — брови вислые, лицо продолговатое, на правой скуле большая, с выпинью, родинка. Не здороваясь, пристально вгляделся в меня и стал раздеваться. Никитична засуетилась:

— А у нас и печка гудит, сейчас щи разогрею. А это девочка из школы пришла, интересуется про Долю и Алешу.

Каторжник сел за стол, потер ладонью лицо, всей пятерней, словно умылся, и вдруг обратился ко мне с вопросом:

— Далеко живешь?

— На этой же улице, на другом конце.

— Серега! — голос был хриплый, властный. Из проема двери показался Сергей. — Одевайся. Доведи девушку до дому.

Мне было пятнадцать лет. Роста я была небольшого, косы подвернуты баранками на ушах. Как первый звонок из иной, девичьей жизни до меня донеслось это слово — «...девушку»...

Сергей как-то по-особому был послушен. Мать сказала: «Иди отсюда, лешак», — он безмолвно вышел. Отец приказал: «Доведи девушку до дому», — он снял с гвоздя тужурку, сунул ноги в валенки и открыл передо мной дверь.

У калитки мы встретили двух братьев с шарманками. Они вернулись с рейса и о чем-то оживленно толковали.

— Ого! — сказал один, заметив меня.

— Интересно, — добавил со смешком другой.

Сергей ничего им не ответил, и мы вошли на середину нашей тихой улицы, в голубых сугробах вдоль заборов. Мы шли медленно, и я спросила: «Вам не холодно?» Потом сказала:

— Какой у вас непонятный характер: все молчите и молчите.

Вместе с морозным паром изо рта моего спутника вырвались наконец слова:

— А что говорить, если не о чем?

Меня это огорчило. Если тебя впервые называли девушкой и впервые провожают, то очень обидно, что говорить не о чем.

У меня было «отлично» по литературе, мои сочинения появлялись на выставке в школьном коридоре. Когда с толпой одноклассниц мы после уроков шли из школы, меня просили: «Завьялова, расскажи что-нибудь». А этому не о чем было со мной говорить. Я обиделась: очень надо.

Хорошо, что ночь и никто не видит, что я иду с сыном Каторжника.

На наших воротах, над номером дома, горела электрическая лампочка. Я повернулась, чтобы попрощаться со своим провожатым, взглянула ему в лицо, и что-то тревожное и острое кольнуло мое сердце — красивый.

Близнецы появились в классе через несколько дней. Я уже была причастна к их жизни и не собиралась рвать эту ниточку. Больше того, я решила о них заботиться.

— Почему братья Макаровы стоят в стороне от общественной жизни класса? — сказала я на собрании. — Потому что у них тихий, застенчивый характер, а мы их не вовлекаем.

Мы стали их вовлекать. Братья немного оттаяли, перестали чувствовать себя чужаками в классе. К Новому году мы готовили «Ревизора». Доле и Алеше дали роли Бобчинского и Добчинского. Свои диалоги они вели монотонно и робко, наверняка таких Бобчинского и Добчинского не знала ни одна любительская сцена мира, как, впрочем, и девочку в роли Хлестакова. У нас Хлестакова играла Зинка Бурда, длинная веселая Зинка, которой пришлось перед премьерой остричь свои дивные русые кудри.

Я мечтала, что на новогодний вечер придет Сергей. Я даже сказала братьям:

— Скажите дома, пусть ваши все приходят. Мы решили: пусть будет много зрителей.

Сергей не пришел на новогодний вечер, и я после спектакля сидела в новом платье в углу зала, глядела, как танцуют вокруг елки веселые люди и думала: «Меня никто никогда не полюбит». Близнецы в белых рубашках танцевали друг с другом, заметили меня. Алеша крикнул:

— Пойдем вместе домой!

Так я во второй раз попала в дом Каторжника.

Застолье только начиналось, когда мы вошли в дом. Длинный стол на кухне был выдвинут на середину, за ним сидели братья, они были все похожи на отца, только тот, что приехал с женой, и близнецы пошли лицом в мать. Я сразу увидела Сергея. Он глядел на меня спокойными черными глазами, не улыбнулся, не удивился. Хозяин поднялся, посадил меня на свое место, а сам пересел на другое, поближе к двери. До полночи оставалось несколько минут, и все терпеливо ждали. В двенадцать хозяин поднялся, сказал:

— Желаю всем здоровья и счастья в Новом году.

Все поднялись, молча выпили и сели.

Я заметила, что сыновья, нахваливая студень и другие закуски, обращались к отцу. Никитична сидела молчаливая, иногда вскидывала на меня грустный взгляд, жалобно улыбалась, и я терялась в догадках, не понимала, что с ней случилось. Близнецы были от меня далеко, на другом конце стола, Сергей сидел напротив, и я каменела под его спокойным, ничего не выражающим взглядом, давилась куском и чувствовала себя несчастной. Разговор вел Каторжник.

— Вот ты, Глеб,— обратился он к женатому сыну,— чем ты этот год обозначил?

Глеб поднялся, потупившись, ответил.

— Женился.

— Еще что?

— Сдал на помощника машиниста.

— Это мы и без тебя знаем. А какие у тебя вопросы к жизни?

Я не помню, что ответил Глеб, но сказал он что-то не то, потому что отец рассердился и, забыв про праздник, рывкнул:

— Дурак, потому и женился ни свет ни заря, что вопросов к жизни не имел.

Я сжалась, разговор был семейный, а я влезла сюда, и теперь женатому сыну вдвойне стыдно, что отец орет при чужих. А Каторжник уже допрашивал второго сына:

— А ты, Матвей, чем год прошедший обозначил?

Матвей вытянулся над столом, руки по швам, а я, замирая, ждала очереди Сергея. Когда он поднялся со своего места, я опустила голову.

— В техникум определился. Хочу за три года закончить. Только ничего не получится — в армию надо идти.

— Значит, у тебя такой вопрос к жизни, что армия тебе помеха.

— Армия не помеха, а все же вопрос затягивает. Хочу после техникума в Москву, в Николкин институт.

— Хочу да хочу,— пробурчал Каторжник.— Николка не трещал языком «хочу, хочу», а поехал в Москву и учится.

— Так сам же спрашиваешь?

Но тут Каторжник так сурово глянул на Сергея, так

рявкнул: «Садись!» — что сердце мое, как тогда впервые во дворе, застучало гулко и трусливо.

Последними он допрашивал близнецов. Они стояли рядом, поглядывая друг на друга, чтобы не сбиться и не заговорить разом.

— Будем стараться учиться и дальше, — сказал Доля.

— Поедем в Москву после десятилетки, — добавил Алеша.

— Поскребыши, — сказал брезгливо Каторжник, — как пидюки задулдыкали. Я вот сейчас узнаю, как вы там стараетесь учиться.

Я не ожидала, что он доберется до меня. Но что-то лихое и храброе уже хлынуло в мое сердце, не дожидаясь, когда оттуда уберется страх.

— Встань! — приказал хозяин. — Отвечай, как они в школе себя проявляют.

Я встала и, глядя прямо в тяжелое, безрадостное его лицо, ответила:

— А как они могут себя проявить, когда вы их так унижаете? Я сегодня поняла, почему они тихие и пассивные. Так нельзя — они люди.

Я говорила, и меня трясло, на глазах выступили слезы. Каторжник сощурился, склонил голову к плечу, но слушал, не перебивая. Я говорила горячо и долго.

— ...Это раньше, в старое, царское время так измывались над людьми. А теперь жизнь другая. За нее боролись...

— Садись, — негромко сказал Каторжник, — мало ты знаешь про жизнь. Садись.

Я села и встретила глазами с Сергеем. Он улыбался. Удивленно и по-доброму. Запас моей храбрости весь не вышел, и я сказала ему громко, через стол:

— Проводите меня. Я не хочу больше здесь оставаться.

Но тут неожиданно поднялась Никитична.

— Пошли моя деточка, пошли отсюда, миленькая. Я тебя сама провожу.

Никто не остановил нас, все остались за столом, как сидели.

На улице Никитична забежала вперед, подождала, когда я подойду, поравняюсь с ней, и вдруг весело, перебивая себя смехом затараторила:

— Ну что, увидела мою жизнь? Хороша каторга? Лю-

ням говоришь — не верят. Людям что? Они сейчас поют, веселятся, танцуют. А мне тут ляг на снегу и помри. А чем я хуже их? Почему мне праздника не надо? — Она развязала концы длинного платка, вытерла углом улыбающееся лицо и закужилась на месте. Потанцевала, запыхалась, завязала платок. — Я от него сбегу. Узнаю, где деньги хороши, оденусь, обуюсь и сбегу. Я хоть где устроюсь. В официантки наймусь. Буду тарелки людям таскать.

— Дети у вас, — сказала я ей печально. Глупая какая женщина, дома у нас действительно каторга, а она болтает неизвестно что. — Детей бросать нельзя.

— Какие это дети?! — удивилась Никитична. — Это не дети — это ж тоже каторжники. Он их сизмальства в свой каторжный круг завел. Слыхала: учитесь, учитесь — это, значит, воровать нельзя, опасно, а выучишься на какого-нибудь инженера, и будет полный карман денег. А из кармана их — в мешок, потом в железную бочку и в землю, чтобы никто не видал.

— Неужели у него действительно много денег? — спросила я.

— А кто его знает. Может, и есть. Чего ж он такой тяжелый, если денег нет. Когда денег нет, человек легкий, как я.

Заморочила она мне голову. Сзади послышалось чье-то дыхание и скрип шагов. Нас догнал Сергей.

— Замерзли вы, наверное, слушая ее разговоры, — сказал он мне, — ее до утра не переслушаешь.

— Его послушай, его, — отозвалась Никитична, — как он мать свою родную честить будет. Вот уж каторжное семя...

Сергей смутился, взял мать за руку, как ребенка, сказал мне:

— Вам тут недалеко. Я ее домой поведу. — Потоптался и добавил: — А про отца вы не все правильно сказали. Я вам при случае объясню.

* * *

Но случай этот не выпал. Мои родители уже несколько лет вели разговор об отъезде. Не спеша переписывались с родственниками из Хабаровска, ездили туда в отпуск, подыскивали работу. И вдруг все эти длинные сбо-

ры в одночасье пришли к концу: пришел вызов с новой работы, нашелся покупатель на наш старый дом, и мы уехали. А вскоре началась война.

Только через двадцать лет довелось мне вновь пройти по родной улице. Сошла с поезда, который вез меня в Москву, вышла в транзитной кассе остановку на день и пошла пешком по городу, в котором родилась, который жил в моем сердце тихой окраинной улочкой с травой в мелких ромашках летом, в голубых сугробах вдоль заборов зимой. По той улице, где глянула на меня черными жгучими глазами моя первая любовь.

Я пришла на свою улицу, остановилась у того номера на воротах, который был номером моего дома и с грустью посмотрела на другой дом кирпичной кладки, который стоял на месте нашего. Он стоял среди таких же приземистых яблонь, тех или не тех, кто знает. Я и сама была та и не та.

На другом конце улицы, в глубине двора, был еще один дом, к которому я шла медленно, напрягая память, собирая перед глазами лица людей, расставшихся со мной в последнем году моего детства. Я не помнила номера и долго кружила возле того места, где за забором в глубине двора должен был стоять он. В моих воспоминаниях почему-то остался лишь зимний вид калитки и забора с черными квадратами шарманок на снегу. Но вернулась я сюда летом, и зелень деревьев спрятала от меня дом.

— Скажите,— обратилась я к пожилой женщине,— где здесь живут Макаровы?

Опа остановилась, поглядела на меня внимательно. Я подсказала ей:

— Здесь жили много лет назад Макаровы. У них было много сыновей. Последние — близнецы.

Женщина нахмурилась.

— У хозяйки было прозвище Каторжник.

— Это здесь,— ответила женщина.— Мы стоим как раз у их дома.

На высоком фундаменте, выкрашенный в темно-зеленый цвет дом ничего не имел общего с тем, маленьким, в глубине двора.

— Там жила странная женщина Никитична. Ходила по улице и ругала мужа.

— Она умерла давно, кажется, через год или два после войны.

- А Каторжник?
- Три года назад.

Опа посылала меня куда-то в другое место. Темпо-зеленый дом высылся пад забором и вселял надежду, что мы говорим о разных людях.

— У них еще был сын — Сергей, такой черноглазый, с чубом.

- Идите, там вам все скажут.
- И Доля с Алешей — близнецы...
- Идите, идите...

Я вошла во двор. Асфальтовая короткая дорожка упиралась в высокое крыльцо. На крыльце сидела девочка в сарафане с книжкой на коленях.

- Как тебя зовут? — спросила я.
- Нина.
- Ты Макарова?
- Нет.

На крыльце появилась женщина в платье из такого же ситца, что сарафан на девочке.

— А я вас узнала!.. — крикнула она. И качнулась. Опустилась на крыльцо.

Я глядела на нее — кто она?

— Помните, был Новый год, и вы с Долей и Алешей пришли со школьного вечера. Это же вы были?

Я вспомнила.

— Вы жена того брата... — Я забыла имя ее мужа, но вдруг вспомнила, что он рано женился, потому что не имел вопросов к жизни.

— Это я, — она прикрыла ладонями лицо, — вы, значит, вспомнили меня. И Глеба помните?

Девочка переводила взгляд от матери на меня, этот взгляд был нетерпеливый и сердитый.

— Мама, говори все сразу.

Но мать молчала. Сидела на ступеньке крыльца, раскачиваясь от воспоминаний, и молчала.

— Они все погибли, — сказала девочка, — их было семь братьев — Иван, Николай, Матвей, Глеб, Сергей, Ардальон и Алексей. — Она выпатила имена с заученной интонацией, видно, не в первый раз произносила.

— Я училась вместе с Ардальоном и Алексеем.

Девочка поглядела на меня безучастно, они были для нее только именами.

Мой поезд уходил через два часа. Мы пили вино с же-

ной Глеба в просторной комнате, говорили о людях, живших когда-то на этом месте. Нет, он ничего не накопил в своей жизни, суровый, хмурый Каторжник. Не умел читать, расписывался закорючкой, оттого так истово тиранил сыновей — учиться. Про Нпкитичну жена Глеба сказала неопределенно: «Загадка она для меня. Очень уж характер у нее был странный. Но, знаете, что я поняла с годами. Любили они друг друга. Не может, чтоб без любви родились все, как один, такие хорошие дети».

— А дом откуда?

— Это их дом. Военкомат построил. За сыновей.— Она вздохнула и сказала печально: — Вот так и кончилась жизнь. Стремился человек, держал всех в послушании, вытягивался в струну, а в результате что? Ничего. Никакой награды, даже детей и внуков не осталось.

Это были страшные слова, безнадежные и неправые.

— Разве дети и внуки — это все, что остается от человека? — спросила я жену Глеба.

— Наверное, не все, — ответила она, — что-то есть еще, но вот что?

Я понимала, о чем она спрашивает, но слова тоже найти не могла. Не могло быть так, чтобы жизнь человеческая, старания и надежды — как вода в песок, зазря. Не могло. Нет, не бывает так, чтобы человеческая жизнь зазря, в песок. И этот миг, и годы, и вечность — это все оплачено.

За окном сквозь листву пробивалось горячее летнее солнце. Девочка Нпна, пригнув голову к коленям, читала на крыльце книжку. А за воротами тихая, как и много лет назад, бежала, поросшая травой, от дома к дому улица нашего детства.

Привезла Варвара мужа

Ну и задала своей улице задачку Варвара, когда вернулась с курорта. Не одна, как поехала, а с мужем. У продуктового магазина произошло даже что-то вроде собрания. Пожилые женщины горячились, вскрикивали и пасобирали вокруг себя порядочную толпу.

— Да ей, если считать, все пятьдесят будет.

— Не в годах дело, в самой ей дело. У ей ни одного мужа за всю жизнь так и не было.

— Как это не было? А Оля от кого? Был у нее муж, на войне погиб.

— Никто у нее на войну не погиб. Я ее еще до войны девочкой знала, когда она на Сенной жила. Не было у нее сроду никакого мужа.

— Ну, что вы, ей-богу, вызверились. Не было — так теперь будет. Кто вдел его?

— Марья Прокофьевна вдела. Была у них утром.

Толпа окружила кроткую старушку Марью Прокофьевну, взглядами потребовала отчета.

— Была у них, да, была, — словно оправдываясь, сообщила она, — вдела этого мужа. В костюме сидел, чай пил.

— Ну и что? Чего говорил-то?

— Чего он мне говорить будет? Поздоровался. А Варвара сказала: «Теперь он тут хозяин».

— Хозяин! С утра — чай, к вечеру — известно что. Обопьет, оберет — и будь здорова, дорогая.

— Чего там обирать? Может, сам с приданым. У Варвары особенно не обопьешься.

— Это ж надо, на курорте подобрала. Они там, что ли, валяются, на курортах?

— В первый раз посехала. Еще раздумывала: ехать — не ехать. И вот себе парочку привезла.

А тут и сама Варвара появилась: брови насуплены, по лицу красные пятна:

— Что, Варвара, свадьбу играть будешь?

— Как же! Только и делов мне деньги на свадьбу кидать. Кто мне зла не строил, пусть приходит вечером. Ничего специально не устраиваю, никого специально не зову.

Прошла в магазин, а за спиной:

— Ишь, как заговорила — «специально».

— Зла кто ей не строил. От самой всю жизнь зло и шло. Скольких по судам истаскала.

— Теперь всю свою энергию на мужа пустит. Сбежит он от нее.

— Она уж как вцепится — не сбежит.

— Чего там, женщины, что будет, то будет, кому наперед что знать.

Улица, на которой жила Варвара, была тихой и богом забытой в этом большом городе. Тянулась она вдоль высокой чугунной изгороди центрального парка, и еще с довоенных годов по генеральному плану строительства принадлежала самому парку. Сколько помнили себя хозяева деревянных домов и чахлах вишневых садилов, все они были «выселенцами». Но выросли вокруг многоэтажные дома, сам парк поменял свои деревянные лавочки и фанерные киоски на стекло и бетон современных строений, а улица за чугунной парковой оградой как была нищенкой в пыли и заплатках, так и осталась. Две водопроводные колонки по краям, в каждом дворе за сараем скворечня-уборная, в каждом доме — догорающая чья-то жизнь и временный всплеск молодости — почти все хозяева держали квартирантов-студентов.

Но зато название улицы — Вишневая. «Живем в самом центре, возле парка на Вишневой улице», — скажешь кому-нибудь, и веселей на душе, и вроде бы даже неохота думать, что когда-нибудь переселят в хорошие дома с горячей водой и балконами, будет-то хорошо, но уже не возле парка на Вишневой улице.

Варвара поселилась на Вишневой после войны. Приехала из эвакуации с двухлетней Олькой, сняла каморку в собственном доме у старухи Цаплиной, устроилась на работу в парке ночным сторожем ресторана. Старуха Цаплина, по-уличному «Цапля», жила одна в большом

полуразрушенном доме, квартирантов не держала, и комнату Варваре сдала, как сама говорила, «от усталости в сердце». Молодая, крепкая Варвара не то чтобы поправилась ей, а показалась надежной. Такая и полы вымоет, и глаза закроет, когда придет час хозяйке помирать. А этого часа старая Цапля ждала каждый день. Сидела оцепеневшая на крыльце, безучастно глядела, как маленькая Оляка волочится в мокрых штанах или сосет гвоздь, и все соседи знали, что она не просто сидит на крыльце, а ждет смерти. Говорили, что старуха отписала в завещании свой дом квартирантке, что и кроме дома тоже кое-чего отписала. Это «кое-чего» у старой Цапли должно было быть: муж до войны работал на трех должностях в парке — уборщиком, кладовщиком на стадионе и вечером билетером на танцплощадке. Когда немцы заняли город, он почти весь свой спортивный склад пустил на барахолку. Там и погиб во время облавы. А два сына положили головы на фронте.

После смерти старой Цапли стала Варвара знаменитой на улице. Завещания не оказалось, зато понаехала куча родни, и каждый точил зуб на дом, и каждому поперек пути стояла Варвара. На стороне родни был закон, статьи в кодексах, а за Варварой никого и ничего. Кто-то надумил подать заявление в суд. А там сказали, что нужны свидетели. Вот тогда пошла Варвара по домам. В первый палисадник вошла с добрым сердцем: «Это ж подумайте, что получилось. Я ее кормила, обстирывала, горшки, извиняюсь, полгода последних за ней таскала, а теперь убирайся, куда хочешь». Выслушали ее сдержанно, дескать, закон — есть закон. А что стирала и кормила, так ведь и не платила за жилье. Из дома в дом ходила Варвара и не выдержала, сорвалась: «Подпалю к чертям собачьим все ваши халупы, в одну ночь бензином все оболью, а в другую — с огнем пойду, тогда, кто выскочит, вспомнит меня. Как негде будет жить, так вспомнит. А ребенку моему в детском доме даже лучше будет». Докричалась до того, что вызвали участкового. Но потом все-таки все, к кому ходила Варвара, написали свидетельские показания. Два года тянулось дело в суде, как весы с перекидной гирькой, то в одну сторону, то в другую. Два года пребывали то и дело соседи Варвары в свидетелях, а потом вздохнули свободно: присудили ей окончательно и бесспорно треть дома.

И вот через двадцать три года в этой своей части дома играет Варвара свадьбу.

Сидит уже с полдня пьяная, глаза шальной слезой застланы, глядит на гостей насмешливо, будто главный свой козырь еще не выложила, бережет к какой-то минуте.

Жених тоже румян от вина, галстук сбился в сторону, с Варварой не переговаривается, будто не знаком с нею.

Соседи разглядывают жениха, прощупывают, втягивают в разговор.

— Ну, как вам наш город, Дмитрий Иванович, красивым показался?

— Хороший город, хоть и не видел я его вполне. Все города, которые особенно повреждены в войну были, теперь как новые.

— А вы, извините, где в войну были?

— Не воевал. Бронированная у меня специальность. Металлист я. Ну, сначала, значит, завод перетасили на Урал, а там уж всю войну работали.

— Орден имеет,— сказала Варвара и взглядом добавила, дескать, полегче, не хуже вас.

Соседки пошли с другой стороны:

— А сами где теперь проживаете?

— Все там же, на Урале. Может, слышали — Нижний Тагил?

— Слышали,— неуверенно закивали соседки,— и туда, значит, вам съездить еще придется?

Варвара, как коршун:

— Съездит, съездит. Чего раньше времени каркать. Вот когда поедет да не вернется, вот тогда и покаркаем вместе.

Жених засмеялся в кулак: ну уж, Варвара, сами видите, так скажет, что и не ответишь.

Сидели долго, говорили шумно, но мирно, подходили новые соседки, смущаясь, с порога поздравляли, ставили бутылку на стол.

— Завтра в загс идем,— сказала под конец свадьбы Варвара,— все чтобы законно было, как следует.

— Теперь не сразу расписывают, через два месяца.

— Это молодых через два месяца, а нас, может, и сразу.

— Могут и сразу,— обнадеживали соседки,— оно и должно быть в таких случаях без канители, сразу.

От вина, от того, что Варвара не туманила, а честно

и откровенно говорила о своей новой жизни, соседки по-доброму приняли и свадьбу, и жениха ее, Дмитрия Ивановича. Расходились поздно, шли по улице легко, со смехом. Словно Варвара подарила им надежду: на курорте не на курорте, а разные неожиданности в жизни бывают, может, и мой жених за каким-нибудь углом маячит.

Поехала Варвара на курорт со злости. Хотела, как и в прошлый отпуск, к дочке ехать, а та вдруг письмом опередила: «Мамочка, милая, не знаю, как и начать. Я у тебя и так вся в долгах неоплатных, но если бы ты знала, как надо быть в мои годы хорошо одетой и как трудно это дается. Все-таки жизнь несправедливая: когда будут деньги, наряды, тогда годы будут не те, тогда зачем все это, а сейчас, когда все это было бы в радость — денег не хватает...»

Олька просила сто рублей на дубленку. Триста у нее было, а дубленка стоила четыреста. Варвара прочла письмо и лицом почернела: четыреста рублей! Четыре тыщи старыми. Ах, ты гадость, да я за всю свою жизнь сразу столько в руках не держала. Днем на фабрике, ночью в парк бежишь со свистком на шее. Две зарплаты, и все на Ольку: ботиночки, туфельки, костюмчики шерстяные. От соседей куда денешься, чужим бы людям безотцовщину не показывать.

Каждая строчка письма, как иголка в сердце. «Я у тебя, мамочка, в долгах неоплатных», — почему ж в неоплатных? Может, не приведи господи, и придется матери когда отплатить. Но больше всего обидели Олькины рассуждения о нарядах, мол, нужны они только в молодые годы. «Ах ты, гадость, да в молодости любой ситец — парча, это в старости надо быть человеку хорошо одетым».

Никогда она не ругала Ольку в письмах. Писала коротко, осторожно, чтоб поменьше было ошибок; страдала, что кроме Ольки письмо будет читать и ее муж Сева, и он-то уж посмеется над тещиной малограмотностью. А тут написала большое ругательное письмо, отвела душу. Потом, на другой день, вспомнила, что хоть и большое письмо отправила, да ничего конкретно про сотню не написала. Пошла и отбила телеграмму: «Денег не жди, самой надо».

Вот тогда со злости и купила себе путевку в Крым. Собиралась на скорую руку, путевку ей дали «горящую»,

только в день отъезда подумала: «Там же юг, море, купаются люди». Уже с чемоданом зашла в магазин, купила черный купальник с красной полоской на талии.

Три дня стеснялась. Сидела на пляже в платье, глядела с неодобрением на своих сверстниц — ни стыда, ни совести, потом рассердилась на себя: «А кто меня тут знает!» Сняла платье и пошла в море.

Вечером сказала своей соседке по комнате: «Не зря сюда люди едут. Я в море побывала, как двадцать лет в нем оставила». Соседка глянула безучастно, пожала плечами. Варвара поняла, что она не желает с ней знаться.

Одиночество не тяготило ее. Смущали люди, что они думают о ней. Небось удивляются: зачем такая тетка прикатила на курорт. Народ кругом был красивый, нарядный, и Варвара сжималась, проходя по аллее, чувствовала свое длинноватое платье, тяжелые от жары поги в вышедших из моды туфлях.

С Олькой она всегда ругалась из-за этого. Оля кричала: «У тебя комплекс. Живешь как деревенская, ах, что люди скажут, что подумают, ах, будут смеяться. Ты должна себя настроить, что у людей без тебя есть о чем думать». Она не могла себя так настроить. Она сама зорким глазом подмечала, что и как у людей, и люди, казалось ей, тоже о ней что-то думали.

За столом в соседях у нее оказалась семья: отец, мать и мальчик-дошкольник. Дитя было избалованное, родители терпеливые, и Варвара каждый раз надрывала сердце, в молчании наблюдая, как истязает ребенок своих молодых родителей.

Выходя из столовой, она думала: «Что же это из него вырастет? В пять лет он у них ложку в руке держать не желает. Дисциплины не понимает. Мать под столом ногой бьет». От возмущения у нее колотилось сердце. После обеда она уходила в глубь парка, выискивала безлюдное место. Парк был велик и красив. Цветочные клумбы переливались яркими красками, на каждом кусте цветов было больше, чем листьев. Варвара с уважением глядела на это буйство красоты, но не удивлялась, она понимала, сколько человеческого труда вобрали в себя и ровненькие клумбы, и чистые дорожки.

Через неделю она заскучала. Тревога упала на сердце: безделье и есть безделье, хоть на юге, хоть где. Ничего от него хорошего не бывает. Соседка по комнате завела по-

другу. Не обращая внимания на Варвару, говорила: «Пынешний сезон что-то особенное: семейные дуэты и пенсионное соло». Варвара понимала, о чем она говорит, и про себя отвечала: «Пенсионное соло... а сама кто? Как есть солистка, хоть до пенсии и далеко».

Утром Варвара шла на пляж. Устраивалась в укромном месте, у бетонного волнореза. Когда появлялся физкультурник с баянистом, поднималась с лежака, вместе со всеми делала зарядку. Никто не глядел в ее сторону, не замечал ее отваги, и она, осмелевшая, выскивала глазами толстых, пожилых людей и мысленно поощряла их: «Молодец, старайся, и ничего тут стыдного. Сам разъелся, ни у кого не занимал».

Соседи по столу в один из дней оказались и соседями по пляжу. Дитя надрывалось от крика: то не хотело идти в воду, то вылезать из воды. Родители, как заведенные, мотались с ним, не видя ничего вокруг.

— Я против того, чтобы обижать детей,— сказала вслух Варвара,— но этого бы с удовольствием отстегала.

Мужчина под самодельным большим тентом рассмеялся.

— У меня такое же желание.

Кто-то еще что-то сказал, и пошел разговор о воспитании, о детях, которых с малолетства вот так распускают, а потом общество с ними мается. Какая-то женщина, как всегда бывает в очередях и в других стихийных коллективных разговорах, моментально создала оппозицию.

— Теперь все с детьми мучаются, теперь домработницу найти даже мечтать не приходится.

Разговор забурился, вбирая новые голоса. Заговорили о детях, припоминая разные случаи с домработницами.

— У нас это очень непродуманно,— сказал мужчина под тентом.— Женщина в таком положении, что не позавидуешь: и работа, и дети, и домашнее хозяйство. Раньше с этим как-то было проще.

— Раньше домработницы совесть имели,— поддержала его старушка в чалме из полотенца,— раньше вообще люди друг к другу больше уважения имели.

Варвара слушала, чувствуя, как тяжелые волны раскачиваются в голове, бьют в виски, туманят глаза.

— Почему у нас женщина,— долдонил мужчина,— в таком положении. Пишут, пишут, а толку нет. Это же сфера услуг. Есть официантки, продавцы, парикмахеры,

почему не подумать в государственном масштабе о такой профессии, как домработница? Иначе женщина никогда не станет счастливым человеком.

Барвара подпоясалась, надела халат, туфли, сунула в сумку полотенце и уж после того спросила:

— А домработница по вашему понятию — не женщина?

— Не понимаю, — отозвался тот.

— Не понимаешь, а говоришь. Значит, одной и работа человеческая, и ребенок, и домработница, а другой — ничего?

— Какая разница, где работать, — возразил он, — разве легче у станка стоять или вот на строительстве женщины работают...

— Легче, — ответила Барвара, — душе легче. — Она стояла, сверху вниз глядя на него. — Значит, своего дитенка — в ясли, а вот этому, — она кивнула в сторону, — сопли подбирать?

— Зачем так грубо! Есть ведь одинокие, неустроенные в личной жизни.

— Неустроенным надо устраиваться, — отрезала Барвара, — об неустроенных надо думать в государственном масштабе, а не о тех, у кого все есть.

Она пошла, переступая через лежащих, и ее безмолвно провожали взглядами. Кто-то сказал вслед:

— Ай да тетя!

«Все, — решила она себе, — больше рта не раскрываю. Буду глядеть на людей, послушаю, если поблизости будет разговор, а сама влезать не буду». С таким характером дома сидеть, а не на курорты ездить. Теперь там, на пляже, моют ей кости или, того хуже — смеются. Ее вознобило, хоть воздух звенел от жары.

Вечером с тоски и недовольства собою она зашла в павильон и вышила стакан вина. Вино было терпкое, сильно разбавленное. Барвара вытерла губы и сказала пожилтому жилистому в захватанной белой куртке буфетчику:

— Погубит тебя дурость — кто же так разбавляет?

У буфетной стойки народу не было, буфетчик стрельнул глазами по сторонам, хриплым голосом сказал:

— Без меня это сделали. — Вгляделся в Барвару, одобрительно кивнул и предложил: — Слушай, приходи опять через час, когда закрою.

Варвара махнула рукой, засмеялась: «Уж если человек дурной, так он во всем дурной и есть. Ах ты, старый козел — приходи через час...» Но вышла из павильона веселая, вино, хоть и разбавленное, ударило в голову, пропало опасение, «что люди скажут». Пусть говорят, что хотят.

У скамейки в матовом свете фонаря топтались трое приезжих. Варвара сразу отметила их бездомность: чемоданы лежали на скамейке, а их хозяева стояли пришибленные темнотой, не зная, что делать, куда податься. Женщина всхлипывала. До Варвары долетели слова: «Утром уеду. Провалитесь вы со своим югом».

Варвара приблизилась к ним:

— Пойдемте, может, что и выйдет.

Они подхватили чемоданы и без слов двинулись за ней. По дороге женщина сказала:

— В такое положение попали, хоть волком вой.

На обочине парка в ряд вытянулись белые мазанки. Варвара давно заметила, что тут живет много приезжих, сюда и вела она бездомную семью. В темноте только женщину чуть разглядела: высокая, с насупленными бровями; мужчина и парень не раскрывали рта, Варваре они были неинтересны. Отец и сын. Теперь мужики многие так живут, — куда женщины их поведут, туда и шагают, как бараны.

Утром она ходила вдоль пляжа, выискивала место, чтобы не столкнуться невзначай со вчерашними спорщиками про домработниц, и вдруг увидела тех троих, что встретились ночью.

— Здравствуйте, — обрадовалась женщина, — а мы как раз вас вспоминаем.

Варвара расположилась возле них. Мужчина был в годах, мрачноватый, женщина тоже немолодая, но с ухватками молодой — в ушах серьги черные, фигура поджарая, ловкая. Парень лежал вниз лицом. Варвара глянула на него и обомлела: «Это ж надо, как расписали красавца». Татуированных она всех причисляла к хулиганью, так же как курящих девиц — к «легким на поведение».

— Вы поберегитесь первые дни, — сказала она им, — а то сгорите сразу, тут солнце уже в девять часов печет что в полдень.

Парень поднял голову, посмотрел на нее из-за плеча и звонко, отчетливо, как говорят дети, когда заранее обдумают, что сказать, произнес:

— Я моря не боюсь. Я людей боюсь. Они меня топить будут.

— Незачем им тебя топить, — ровным голосом ответил мужчина, — ты не спеши, подумай: зачем им тебя топить? Парень помолчал, подумал, наконец придумал:

— Чтоб я утоп.

«Вот несчастье, — подумала Варвара, — а с виду незаметно».

— Неправильно говоришь, — сказала она парню, — тут люди в море купаются, веселятся, никто никого не топит.

Парень глянул на нее и улыбнулся. Улыбка выдавала его: лоб собрался в тоненькие морщины, глаза сделались виноватыми.

— Я — моряк, — он протянул ей руки в татуировке, — видишь?

Варвара перевела взгляд на родителей, может, те недовольны, что она вступила в разговор с сыном? Но они ничего, слушали спокойно, похоже было, что привыкли, не стесняются посторонних.

— А раз моряк, — сказала Варвара, — значит, моря не бойся.

Мужчина поднялся и, неловко ступая по камням, пошел к морю.

— Не утонет? — парень с испугом поглядел на мать, потом на Варвару.

«Ах ты, горюшко мое заботливое, сколько страхов напрасных в твоей душе», — Варвара почувствовала, как слезы подступают к глазам.

— И ты иди, Коля, не бойся, — сказала мать. — Иди, Митя тебя ждет.

Коля сделал два шага вперед, обернулся к Варваре, протянул руки с татуировкой.

— Один дурак колот. Не надо колотить, а он колот.

Мать вздохнула ему вслед.

— Все понимает, да только тогда, когда скажешь. Да люди разные встречаются, а он доверчивый.

Редко поднималась жалость в душе Варвары. Кошк бездомных без жалости выгоняла из парка, на цветы глядела без умиления. Ругала Ольку, когда та приводила в дом подружек, поила их чаем. «Сама зарабатывать бу-

дешь, тогда хоть весь город задаром корми». Всю жизнь она надеялась только на себя и чужую боль не брала к сердцу, своей боли хватало.

А тут будто треснуло у нее что-то внутри, и вырвались оттуда тепло и жалость: «Бедный ты мой, как же тебе жить дальше? Какое горе с тобой сравнится?»

— Хороший он у вас,— сказала она матери,— ласковый. И счастье ваше и его, что отец есть.

— Не отец Митя. Брат мой.— Посмотрела на Варвару внимательно.— Всю он жизнь свою на нас положил.

Потом Варвара вспоминала этот взгляд. И Анна, прощаясь с братом на станции, сказала Варваре: «У нас уже тогда, в первый день на пляже, было предчувствие: ох, неспроста нам эта женщина встретилась».

В тот вечер, когда Дмитрий Иванович сказал, что полюбил ее, что хотел бы, хоть и поздно, иметь свою семью, она чуть не умерла от волнения. Это только подумать — в сорок восемь годков пойти под венец. Это же вся Вишневая перевернется от смеха, Олька отречется.

— Невозможно это,— сказала она и заплакала. Обидно ей стало и горько, что в лучшие годы не встретился ей Дмитрий Иванович, а теперь — только людей смешить.

— Возможно,— сказал он,— все возможно, если правильно, по-человечески.

И еще он сказал слова, которым она сразу поверила, потому что были они справедливые.

— Старость — это не годы, не возраст, это страх, когда человек боится быть молодым.

Вишневая улица еле ономнилась от свадьбы, как тут же на нее свалилась другая новость: уезжает Варвара, уже и расчет в парке взяла. Сболтнула кому Варвара или другим каким путем слух проник, только на этот раз уже не любопытство, а опасение за Варварину будущую жизнь взбудоражило улицу. «Сын у него или племянник, кто это знает, больной. Хорошо мужик прикинул: Варвара работающая, всех вытянет. Ах, дурная. Дом вот-вот снесут. Жила бы себе в отдельной квартирке с балконом, как королева». А тут еще, как уже не раз бывало, без письма, без телеграммы заявила Олька.

Улица притихла. Зашла старуха Прокофьевна, одолжила соли. «Сидят за столом, все трое сидят. Олька в пят-

пах по лицу, глядит сама на себя через стол в зеркало на шифоньере. Варвара голоем смотрит, и тоже до лица пятна. А этот, как истукан, губы поджал, чувствует, что дочь может матери глаза открыть».

— Все так неожиданно,— говорила Олька, сидя за столом,— тебе не страшно перекраивать жизнь?

— Нет,— отвечала Варвара,— не страшно. Страшно, когда человек один, тогда он думает про свою старость и что никому не нужен.

— Мне ты всегда нужна.

— А я тебя не бросаю. Вот ты приехала — и мы вместе. И еще приедешь. Туда тебе и ближе, и дешевле ездить будет.

— При чем тут «ближе, дешевле». Все так неожиданно, так странно.

Она еще много раз повторяла «неожиданно», «странно», по ничему эти слова не означали. Просто Олька, как все дети, считала, что самые неожиданные и странные события могут случаться с кем угодно, только не с теми, кто их родил и вырастил.

Рубль до получки

— Таня,— говорю я,— купи билет спортлото. Я тебе зачеркну шесть цифр, и ты выиграешь пять тысяч.

— Это не так просто.

— Это почти невозможно. Но ведь кто-то выигрывает. Купи, у меня легкая рука.

— Видишь ли...— Таня останавливается, смотрит на меня пристально своими серыми глазами, на левой щеке возникает ямочка — это она улыбается углом рта,— видишь ли, пять тысяч мне не нужны. Пять тысяч ничего не изменят в моей жизни.

— Ты что? — Теперь я гляжу на нее, такими же серыми глазами и тоже кривлю рот так, что на щеке образуется ямка. Мы сестры и очень похожи. Только Таня красивая, а я ее далекое подобие.— Ты что? Будут пять тысяч — купишь, что захочешь, и сразу станет тебе легко и весело.

Таня вздыхает, берет меня под руку, и мы идем дальше.

— Хорошо, что ты приехала,— говорят она,— я и не думала, что это будет так хорошо.

Мы шагаем по ровному и твердому, как асфальт, берегу Финского залива. Под ногами песок: до того он утрамбован, что не остается на нем следов. Чайки качаются у берега, такие белые маленькие уточки.

— Таня,— говорю я,— посмотри, какие чайки. А полетят — и будут совсем другими.

— Я тебя понимаю,— отвечает Таня,— я тоже в первые дни так на все смотрела.

— А теперь?

— И теперь смотрю. Только теперь иначе. Теперь это

все мое. На всю жизнь. Теперь я каждый отпуск буду сюда приезжать.

Мы надолго замолкаем. Потом я набираюсь храбрости и спрашиваю:

— Ты уже не думаешь о нем?

— Думаю. Но здесь легко обо всем думать. Не болит сердце.

— А очень болело?

— Как будто в него воткнули нож.

Никогда Таня не говорила со мной как с равной. И теперь я задаю вопросы, и она отвечает. Таня держит меня под руку, мы с ней одного роста. Встречные пары поглядывают на нас зорко и одобрительно. Наверное, думают, что мы подруги: одна очень красивая, зато вторая очень молодая.

Курортный сезон закончился — октябрь месяц. Я плачу хозяйке рубль за большую комнату, в которой четыре кровати. Летом у меня было бы три соседки, а так я живу за рубль в четырехрублевой комнате. Таня живет в санатории. Ей дали путевку со скидкой в тридцать процентов.

— Почему ты сказала, что тебе не нужны пять тысяч? Это так прекрасно, когда можешь купить все, что хочешь.

— Это радости на пять минут. И к тому же купить все, что хочется, невозможно. Человеческие потребности — бездонный колодец.

— Ты очень умная, Таня. А я?

— Ты пока никакая. Тебе просто семнадцать лет.

Мы заходим в маленькое кафе. Заказываем омлет и два стакана молока. Я ем, а Таня сидит и смотрит на меня. Она завтракает в санатории, в кафе ей делать нечего, и она поучает меня:

— Ешь с хлебом. И сними локти со стола. И жуй. Не глотай, как собака. Мы никуда не опаздываем.

Это уже совсем другой голос. Я знаю его с детства. Голос старшей сестры, который никогда не дрогнет ни от улыбки, ни от нежности.

— Только что мы шли и говорили с тобой, как люди. А теперь ты опять загудела, как дома. Возьми себе кофе, отвлекись, а то мне ничто в горло не лезет.

Я выпаливаю эти слова и гляжу ей прямо в глаза. Таня хлопает ресницами, будто надсется, проморгавшись, увидеть не меня, а кого-то другого, потом поднимается, идет к стойке и приносит кофе.

— Не сердись,— говорит она, разглядывая маленькую керамическую чашечку, в которой кофе мерцает как черпный с радужной поволокой глаз,— очень трудно перестроиться. Я привыкла, что ты младшая сестра. Это уже у меня в крови.

— Это условный рефлекс. От него можно избавиться. Давай будем подругами.

— Давай,— соглашается Таня.— Давай попробуем. Только ты не особенно лезь мне в душу.

Я не лезу к ней в душу, наш разговор качается туда-сюда и никуда не плывет, как лодка, привязанная к берегу. Тане нелегко со мной, у нее свои заботы. Мы заходим в аптеку, покупаем сердечные капли. Мне хочется развеселить ее:

— Помнишь, как ты меня маленькую посадила в ведро и поставила на комод?

— Помню. Хорошо, что ты не упала и не свернула себе шею.

Нет, никогда мы с ней не будем подругами. Как бы я ни старалась. Четырнадцать лет, которые нас разделяют, не перепрыгнешь.

Она уже была в восьмом классе, когда я родилась. Мы жили тогда в тайге, на стройке. Таня училась в интернате, в областном городе, потом переехала заканчивать десятый класс к маминой сестре Кате, в Москву. Увиделись мы с ней впервые, когда мне был год. Таня приехала на каникулы и объявила родителям, что теперь она никому не нужна — ни отчиму, ни матери, что, если бы был жив ее родной отец, все было бы по-другому. Мама очень плакала, отчим обещал, что скоро его переведут на работу в управление и тогда Таня будет жить с нами и всем будет хорошо. Но Таня отвечала, что хорошо уже никогда не будет, потому что родилась я, и она теперь нужна им только как нянька.

До сих пор у моих родителей перед Таней чувство вины. Ее нет — и в доме шум, смех, папин бас: «Ларка (это мне), если ты еще будешь брать мои блокноты, я откручу тебе руки», или: «Георгий Иванович (это маме, она очень сердится, когда папа называет ее этим мужским именем), если у тебя опять не хватит рубля до полочки, я уйду из дома. Как Лев Толстой». Но приходит Таня, и все притихает. Таня живет на два дома: у тети Кати и у нас.

Там у нее отдельная комната, а у нас — диван, напротив моей кровати.

— Таня,— говорю я, когда мы уже в третий раз проходим мимо цветочного магазина на узкой чистенькой улице,— иди в свой санаторий. Мне что-то захотелось пожить собственной жизнью.

— А тебя не пугает эта жизнь?

— Нет. Мне есть чем заняться. Я вспоминаю Володьку. Мечтаю, как он влюбится в меня, как будет караулить за разными углами.

— А еще о чем ты мечтаешь?

— О чем придется. Иногда мечтаю стать красавицей, чтобы все оглядывались на меня и обмирали: кто от зависти, кто от восхищения.

— А в институт поступить ты не мечтаешь?

Это только с виду обыкновенный вопрос, а на самом деле это удар здоровенной палкой по голове. Два месяца назад я поступала в медицинский. Не добрала двух баллов.

— Нет,— отвечаю я,— об этом я не мечтаю. Об этом как-нибудь я просто подумаю. На этот счет у меня разные мысли, и одна из них мне очень нравится.

— Странно,— говорит Таня,— страшно ты заговорила. Не забывай только, что сюда тебя отправили отдохнуть и прийти в себя. Потом будешь отрабатывать: грызть науки и мечтать только об институте.

— Ладно, Таня, иди в свой санаторий. Дружить мы будем в старости, когда мне будет шестьдесят, а тебе семьдесят четыре.

Мы расстаемся. Я гляжу ей вслед: идет, как кинозвезда. Разгневанная кинозвезда, которой нагрубила артисточка из массовки. Идет и источает свою красоту. А прохожим наплевать на эту красоту, у них свои мысли и мечты. Ну, посмотрят, так и на автобус они смотрят, и на кошку, что греется за стеклом окна. Я сердита на Таню и забываю, что у нее горе, что она несчастна. А когда спохватываюсь, ее уже не видно и ничего нельзя поправить.

Янис ждет меня во дворе. Он стоит на дорожке, воротник пальто поднят и повязан красным шарфом. Еще в этом доме девочка Ванда. Она сейчас в школе, их третий класс учится во вторую смену. Отец у этих детей поляк, мать — латышка. Мать, моя хозяйка по имени

Илга, уверяет, что маленький Янис любит меня. Я — его первая любовь.

— Не слушайте эти мои слова со смехом, — говорит она, — но наш мальчик переживает любовь к вам. Он хочет уехать с вами. Он просит, чтобы я сказала вам это.

— Янис, — кричу я, — почему ты так закутан? Посмотри, какое солнце на небе и ветер совсем не злой. — Я развязываю ему шарф, расстегиваю пальто. — Знаешь, что могло бы случиться? Зима увидела бы тебя и сказала: «Ах, ах, я опаздываю. Надо поскорей остудить солнце, заморозить тучи, чтобы из них посыпался снег. А то бедному мальчику очень жарко в зимнем пальто». — Я говорю с чуть заметным акцентом, все так говорят в этом доме, и я не могу от этого удержаться. Янис слушает, задрал голову, из глаз его летит ко мне чистый преданный свет. Очень славное лицо: беленькое, с ровными дужками бровей, и все реснички можно пересчитать.

Илга появляется на крыльце:

— Он одевается, чтобы сразу ехать с вами, чтобы вы не уехали, пока он будет одеваться. Вы должны сказать ему, Лариса, что будете жить у нас долго.

Янис опускает голову, слушает слова матери и, наверное, переживает, что она выдает его тайну. Когда она уходит, он берет меня за руку и ведет к широкой скамейке, которая вросла в землю на задах летней кухни.

— А какая зима, когда ее нет?

Я понимаю его вопрос. Сажусь рядом с ним и рассказываю.

— Зима большая и красивая. У нее белая шуба и на голове высокая белая шапка. У нее холодные руки и красивое лицо. Она любит, чтобы кругом было аккуратно и чисто. И поэтому, когда она приходит, то посыпает землю белым и чистым снегом.

— Зима злая, — говорит Янис, — она кусает нос и руки. А кто ее не боится, того она кусает за голову, и человек начинает болеть. У него болит голова и горло.

Он много знает, этот маленький шестилетний мальчик. Он знает даже, что зима просто время года, явление природы. Но ему хочется разговаривать со мной, и он, как все дети, прикидывается, что верит в сказки:

— Янис! Лариса! Идите обедать, — зовет Илга.

Это самый трудный момент. Я плачу рубль за койку. Обедать задаром эту хорошую семью, в которой зараба-

тывает деньги только один человек — муж Илги, я не имею права. Но на столе уже стоит тарелка, предназначенная мне, Янис и Ванда ждут, когда я возьму в руку ложку.

— Я уже обедала,— говорю Илге.

Она улыбается:

— Нельзя два раза съесть один и тот же суп, но два разных — можно.

Она наливает суп из красной кастрюли, которая стоит посреди стола, снимает прозрачный колпак, которым накрыто блюдо с хлебом, и мы принимаемся за еду.

— Вы очень разные с вашей сестрой,— начинает разговор Илга,— с виду вы очень одинаковые, но характером очень отличается.

— Мы похожи лицом на маму,— говорю я.

— У вас красивая мама,— делает вывод Илга,— а характер у нее похож на ваш или Танин?

— У нее совсем другой характер. У нее очень добрый и веселый характер. Но она немножко трусиха. Всего боится.

— Это у меня тоже немножко есть,— говорит Илга,— я ее понимаю.

Не знаю почему, но с Илгой хочется говорить ничего не скрывая. Ее расспросы — не просто любопытство. Она живет в маленьком городке, с утра до вечера занята детьми и хозяйством, и ее расспросы — это как путешествие в другой город, к другим людям.

— А кем работает ваша мама?

— Она врач. Но она не лечит людей. Она санитарный врач.

— Я знаю, знаю,— кивает Илга,— на нашей улице живет тоже санитарный врач, такой старый и очень сердитый мужичина. Я вам его покажу.

Она задерживает свой взгляд на Ванде, которая зашлупалась и не ест, сидит с открытым ртом.

— Дети должны слушать разговоры взрослых,— говорит мне Илга,— если они не будут слушать, то очень мало будут знать о жизни. Но при этом они не должны думать, что в этих разговорах у них есть слово. Они должны слушать и делать свое дело.

Ванда начинает есть, я вижу, что только ее уши участвуют в разговоре.

— Скажите, Лариса, а ваш папа отдает все деньги из полочки маме?

— Наверное, отдает. Но я этого никогда не видела. У нас в доме говорят о деньгах только тогда, когда их нет.

Илга широко раскрывает глаза и смотрит на меня довольно долго застывшим взглядом. Потом хлопает ладонью по столу, как человек, который принял решение.

— Когда вы будете уезжать, Лариса, я научу вас одному секрету. Вы передадите его маме, и у вас в доме всегда будут деньги.

И тут, нарушая заповедь, что в разговорах взрослых у детей нет слова, раздался глуховатый голос Яниса:

— Лариса... я с тобой поеду тоже?

У Ванды опять открылся рот, теперь уже в испуге. Илга поднимается и уносит кастрюлю на кухню, я смотрю через стол в напряженно-вопросительные глаза Яниса и отвечаю:

— Да, Янис.

Вечером приходит Таня.

— Пойдем к морю,— зовет она,— я что-то опять не нахожу себе места.

Мы бредем в сырой темноте мимо домов, в которых горит свет, выходим на центральную улочку и на секунду поражаемся ее тихой праздничности. В маленьких кафе горят разноцветные плафоны и посылают на улицу радужные цвета красок. Не спеша идут навстречу прохожие. Я уже отличаю приезжих от местных жителей. И по одежде, и по тому, что приезжие глядят на все вокруг изучающе. Местные жители не видят своего городка; не заглядывают в окна кафе, тащат сумки с хлебом, ведут на поводках смешных лохматых собачат или за руку чистеньких, в нейлоновых курточках детей.

— Таня, я не могу представить себе, что из-за человека, который тебя предал, можно так сильно страдать. Ты должна его возненавидеть.

— Не получается.— Таня тяжело вздыхает, и вдруг ее боль проникает в меня.

— Хочешь, я его убью? Или подойду и плюну ему в лицо.— Я на секунду представляю, как подхожу к бывшему Таниному мужу и плюю ему в лицо, и понимаю, что такого мне никогда не сделать. Смогу крикнуть, какой он гад и ничтожество, смогу ударить,— а плюнуть — нет, это хуже, чем если бы плюнули в меня.

— Таня, хочешь я расскажу, как мне изменил Володька и что я сделала после этого?

— Не смей меня своим Володькой.

Напрасно она так. Могла бы послушать. Я тогда классически отомстила.

В девятом классе он прислал мне записку: «Ларка, у тебя, говорят, есть Бредбери. Он мне очень нужен». Бредбери. Я сразу поняла, что из этого Бредбери может получиться. Красивый и высокомерный Володька был новеньким в нашем классе. И, конечно, сразу многим девочкам понравился. Они просто замерли, кого он из всех выделит. И вдруг я получаю записку. Не наши признанные красавицы, а я. Весь урок я корчилась, как бы ему ответить поумней да пошикарней. «Бредбери? Неужели, дитя, ты еще до сих пор не читал Бредбери?..» «У меня есть Бредбери, но нельзя ли узнать, для какой цели он понадобился?» И вдруг я почувствовала, что нашла наконец слово. Написала его и отправила Володьке. Это был гениальный ответ: «Есть». Ты спрашиваешь: есть ли? Я отвечаю: есть. И без подписи. Надеюсь, не всем же девочкам ты разослал подобные записки.

Мы стали, что называется, дружить. Как дружат старшекласники, я теперь знаю. Ходят в кино. На каток. Самые умные — еще в музей. Самые неполноценные — в кафе, там они после бокала вина становятся более значительными в своих глазах. Мы с Володькой ездили за город. Каждое воскресенье. Ходили по лесу или вдоль реки. В другие дни он звонил мне вечером по телефону. Мама говорила подругам и соседкам: «Ларисе звонит ее поклонник. Они учатся вместе».

Володька не был поклонником. Он был дураком. Я каждый день ждала, что он скажет мне: «Я тебя люблю». А он не говорил. На новогоднем вечере танцевал два раза со мной, а потом с кем попало.

Вот тогда я сказала себе: «Ну, держись, Володечка, я тебе отомщу». И придумала. Он звонит: «Ларка, пошли на каток?» Я ему: «Ты что же раньше думал, я только что оттуда?» Он мне: «Ну, как насчет воскресенья?» — «Никак, отвечаю, ты что, забыл, как я мекала на английском? Буду весь день учить». А что такое? В любви не признается, танцует со всеми подряд, только одно название, что мы дружим. Если ты мог танцевать с кем угодно, то и ездил в лес с кем угодно. Ах, тебе с ними

скучно? Ну и скучай. Мне хуже чем скучно было, когда ты кружился вокруг елки не со мной.

Месть моя длилась недолго. Володька перестал смотреть в мою сторону, а потом и здороваться. Весь десятый класс мы не разговаривали. Девчонки помирали от любопытства, что у нас произошло. А я и сама не знала что. Только вдруг почувствовала, что смертельно влюбляюсь в Володьку. Столкнемся случайно взглядами, а у меня прямо ужас какой-то в душе, так я его люблю. И стала его стесняться. Когда не прошла в институт, первая мысль была: «Стыд какой, и Володька узнает».

— Таня, а может, он никогда тебя не любил? Ведь если была любовь, то куда она подевалась? Может, он просто хорошо к тебе относился, а потом ему это надоело, и он ушел.

— Он любил меня,— говорит Таня,— в этом все дело. Он так меня самозабвенно любил, что такой любви не могло хватить надолго.

— А ты?

— Что я?

— Ну, ты... как к нему относилась?

— Да что об этом говорить,— отвечает Таня,— моя душа сейчас, как выжженный пожаром лес, все в ней сгорело, и все еще горячо и больно.

Мне жалко Таню, но я не могу себе представить, как тихий, аккуратненький Виктор Петрович смог выжечь Танину душу. Когда она говорит о своем горе, мне кажется, что это о другом человеке, с черными бровями, решительном и надменном. Это он ушел от красивой моей сестры. Виктор Петрович такого сделать не мог. Я помню, как мне, маме и папе было неловко поначалу сидеть с ним за столом. Он глядел на Таню так преданно, так влюбленно, что мне было смешно, маме удивительно, а папе стыдно. И еще у него была фраза: «Все, что хочешь». Таня говорила: «Пойдем в кино». «Давай купим новый чайник, а то Катин уже скоро развалится». «А что, если на субботу и воскресенье нам поехать в Суздаль?» Он отвечал: «Все, что хочешь», «все, что хочешь». Это означало: все, что ты говоришь, единственно правильные слова, все, что хочешь ты, хочу и я.

И этот человек ушел. Забрал свои чемоданы. Оставил на столе записку: «Я все-таки уйду. Крепись. Хотя

жестoko давать совет человеку удержаться, когда сам даешь подножку...»

Мы расстаемся с Таней на середине пути, между санаторием и домом Илги. Ей идти по освещенной улице, а мне — темными переулками. Я боюсь темноты, но не говорю об этом Тане, потому что, если скажу, она пойдет меня провожать.

— Каждый день Илга усаживает меня за стол, и я у них ем. Попимаешь, никак невозможно отказаться. Дай мне пять рублей, я куплю ей что-нибудь.

— Купи ей чулки и духи «Черный нарцисс». Латышки любят эти духи, — говорит Таня и дает мне пять рублей.

— Почему так, — спрашиваю я у Илги, — когда я приехала сюда, то мне хотелось здесь жить вечно, а теперь, когда до отъезда осталось три дня, хочется скорей оказаться дома?

Илга слушает меня, ее узкое милое лицо, как всегда, спокойно и внимательно.

— Человек не живет единственной минутой и единственным днем, — отвечает она, и я вижу по морщинке на переносице, что она думает и отвечает не только мне, но и себе. — Человек живет будущим. Когда вы приехали сюда, было много дней впереди и ваше будущее было здесь. А сейчас ваше будущее — дома, в Москве. И вы уже живете там.

Она проводит ладонью по лбу, стирает морщинку на переносице, и вдруг тень тревоги ложится на ее лицо.

— Лариса, вы имели неосторожность сказать Янису, что возьмете его с собой. Плохо, если вы ему объясните, что он не поедет с вами, в самый последний день.

— Да, Илга, я это сделаю сегодня. Простите меня, ради бога. Я тогда брякнула, совсем не подумав.

— Не надо ничего откладывать на последний день, — говорит Илга и приглашает меня к столу, приносит лист бумаги и карандаш, — самый последний день одного дела может оказаться первым днем совсем другого дела. И первое дело останется незаконченным.

— А надо все дела заканчивать?

— Конечно, — удивляясь, что я этого не знаю, говорит Илга. — Когда человек заканчивает свое дело, он знает,

что это он так сделал, и у него не остается претензий. А если он бросил его, не закончил, то потом начинает обижаться на судьбу или на других людей.

Она берет карандаш и выводит на листке бумаги квадратики.

— Ваши родители получают на работе деньги два раза в месяц?

— Да.

— Тогда надо пятнадцать конвертов. Эти четырехугольники есть конверты. Папа, мама и вы садитесь за стол, и кто-нибудь один пишет на бумаге, сколько есть денег и сколько есть расходов. Все надо подсчитать, сколько надо заплатить за квартиру, что надо купить — туфли или, например, простыни. Что остается — нужно отнести на хозяйство. Делится это на пятнадцать частей, и каждая часть в отдельный конверт.

Так просто и так скучно. Я представляю папу, маму и себя за столом с конвертами и понимаю, что этого никогда не будет. А если они пойдут на такой эксперимент, то мама все-таки каким-нибудь образом забудет положить в последних три конверта деньги, и папа, как уже бывало, будет курить в эти дни «Дымок», а она сама, выдавая мне утром тридцать копеек, напомним, что в старых деньгах это было три рубля, и это было совсем немало.

— Если делать так, — говорит Илга, — то происходит одно хорошее чудо. Каждый день в конверте что-то остается. И тогда конверт надо заклеить. И через месяц или через два — сколько соберется терпения — надо их разрезать и сделать на эти деньги что-нибудь без программы.

Она поднимается, выходит в другую комнату и возвращается с черной коробочкой. В коробочке — кольцо.

— Этот красный, самый большой камень — рубин. Это кольцо стоит сто сорок рублей.

— Спасибо, Илга. Я обязательно научу своих жить. Они у меня поблистают в соболях и алмазах.

Илга смеется.

— Они будут вам благодарны.

Янис заглядывает в комнату. Ждет, когда закончится у нас разговор. Ждет меня. Я выхожу, и мы идем к морю. Ходим с ним по берегу. Здесь мелкое море, волны не бушуют, а спокойно и легко совершают свою непонятную работу: собирают кружевные воротники пены и сбрасы-

вают их на гладкий и сырой песок. Очень спокойные волны и очень спокойный берег.

Холодно. Янпс в зимнем пальто. Концы красного шарфа колышутся на спине. Моя ладонь лежит на его голове, и я чувствую, как он боится двинуть плечами, идет, как ходячий посошок в моей руке.

Больше всего на свете мне не хочется сейчас встретить Таню. Я не могу понять, как она со своей выжженной, как лес после пожара, душой может ходить, разговаривать, смеяться с высоким мужчиной в свитере и замшевом пиджаке. Он красивый. Рядом с Таней он красив не сам по себе, он половинка красивой пары. Я увидела их впервые неделю назад. Шла вечером мимо освещенных окон ресторана и увидела их танцующими. Музыки не было слышно, зал был почти пуст, на пяточке возле оркестра танцевали Таня и этот в замшевом пиджаке. Первое, что пришло мне тогда в голову: «Где это Таня научилась так танцевать?» И уже спустя несколько минут: «Как она может танцевать с другим?» А еще позже: «Как она смеет?»

Назавтра я сказала ей:

— Я знаю, где ты была вчера. Я все видела. И я больше тебе не верю.

Таня не ужаснулась.

— У тебя категоричный возраст. С годами это пройдет. А пока не лезь не в свое дело.

Мы поссорились. Потом вроде бы помирились, но это был тот худой мир, который лучше доброй ссоры. Я еще два раза видела ее с этим типом в замшевом пиджаке и ждала, просто жаждала серьезного разговора. Я к нему подготовилась: «Слушай, Таня, тебя очень любил Виктор Петрович. И ты не можешь понять, почему он ушел? А отгадка простая — ты не любила. Когда одна любовь на двоих — ее надо очень беречь. А ты ее тратила. Вот и не хватило рубля до получки».

До какой получки — я не знала, но мне нравилась моя речь, и особенно эта фраза: «Вот и не хватило рубля до получки». А потом я подумала: а виновата ли Таня, если на самом деле не любила Виктора Петровича? Вот я люблю Володьку, а ему до этого нет никакого дела. А Янпс любит меня. Он маленький человек, но это совсем не значит, что и любовь у него маленькая. А я обманула его.

Кто же тогда прав и кто виноват? И как сделать так, чтобы не было виноватых?

— Янис, ты не передумал ехать со мной?

Он останавливается, поднимает голову и говорит:

— Ты поедешь с Таней. Таня купила два билета на поезд, — и глядит на меня своими ясными, беспощадными глазами.

— Я не подумала тогда, Янис, что это невозможно. Илга бы очень скучала, и папа, и Ванда. И ты бы скучал. Ведь ты же их любишь?

Янис молчит.

— Не молчи, Янис, ведь ты же любишь их?

— Люблю, — отвечает он. — Но почему ты сказала «да, Янис»?

— Я забыла, что слово сказать легко, а дело сделать трудно. Я не знала, Янис, что дело можно сделать и не сделать, оно может родиться и умереть, а слово живет вечно.

Янис молчит, у него такой взгляд, как будто он все понимает. А молчит потому, что помнит: рядом со взрослыми у него нет слова. Илга молодец: когда у него будет право говорить, он не бросит свое слово на ветер.

— Ты приедешь к нам, когда будет еще одно лето? Впервые у меня нет права сказать «да».

— Я буду мечтать об этом, Янис. Ты знаешь, что такое мечтать?

— Да. Это думать о том, чего нет.

— Я буду всю зиму готовиться в институт. И мечтать, как летом приеду сюда. Мои родители хотят, чтобы я была врачом.

— Ты будешь лечить людей?

— Мне бы хотелось лечить их. Но не от болезней, а от самих себя. Чтобы человек, который сказал «да», обязательно сдержал свое слово. Чтобы каждый, кто полюбил, любил бы всю жизнь и был счастлив. И чтобы у каждого хватало денег до получки.

— Ты научишься, — говорит Янис, — не надо плакать. Я вытираю ладонями глаза и щеки и обещаю Янису:

— Я научусь. Научилась же этому твоя мама.

Он поворачивается и уходит. Два крыла красного шарфа колышутся от ветра на его спине. Идет не спеша, не оглядываясь, оставляя маленькие следы на мокром и чистом песке.

Гула

Всякий раз, как кто-нибудь из наших появляется в городе, я спрашиваю про Гулу. И всегда мне говорят одно и то же: «Что Гула, ничего с ней не делается. Живет».

— А мальчик?

— Носится с ним: он у нее и самый пригожий, и самый разумный.

— Может, так оно и есть?

— Известное дело: хвалила сова своего совепка: «Где еще сыщешь такого красавца, чтобы был такой лупатенький да такой мохнатенький».

Никаких подробностей не вытянешь из моих земляков. А все потому, что не считают меня своей. «Наша» — да, но не «своя». Я тоже не говорю про деревню «моя». Моей была в детстве, когда ранним утром поливали мы с бабкой узкие грядки, укрытые соломой. Под соломой зеленели листки огурцов. Был дед, который каждый день ругался с бабкой. Свешивал с печки рыжую голову и кричал, что она завалила ему дорогу черными камнями. Бабка крестила его, вытянув вверх руку, потом подсаживала меня на приступку и подавала миску с едой. Много лет спустя, вернувшись после войны в деревню, я узнала, что дед мой в начале века воевал с японцами, что тогда «ему выстрелило в голову, с той поры и сдурел».

Жили бабка с дедом бедно. Соседки по очереди носили нам молоко. И если какая забывала или скупилась, бабка посылала меня. Я заходила в знакомые сени и говорила слова, заученные с бабкиного голоса: «Тетсика, что же вы сироту обходите?» Потом, как говорят в нашей деревне, жизнь моя «повернулась на шестнадцать кругов». При-

ехала погостить дедова племянница, жена военного, поглядела на меня, погоревала и увезла с собой. Недолго довелось мне пожить в квартире с большими окнами, с саблей, висевшей над кроватью посреди ковра. Началась война.

В пионерском лагере был один грузовик. Дали команду: «Погружать только дальних, за кем не успеют приехать». Я была «близкая», лагерь находился в двадцати километрах от военной части. В грузовик по лесенке поднимались «дальние». Сейчас все сядут и куда-то поедут.

— А ты почему в машину лезешь?

— Я сирота! — крикнула я, вспомнив спасительное слово.

Потом в детском доме под Томском меня пытались отучить от этого слова, учили быть гордой. Я плохо усваивала: бабкины уроки: «Теточка, что же вы сироту обходите?» — сидели крепко. Нужно было мне в жизни встретиться с Гулой, чтобы понять, чего от меня хотели.

Она появилась в нашей деревне в первый год войны. Стриженная, в старом ватнике, из-под которого торчали ключья нескольких юбок, подкрадывалась к задкам огородов, подкапывала тайком картошку. Ее выследили, но не схватили, пошли следом и пришли к яме, укрытой сосновыми ветками. Двое детей — мальчик и девочка — сидели в ней, черные от земли и страха. Когда пришли в деревню, Гула рассказала, откуда она и что с ними случилось. Родом гродненская, как Советы в тридцать девятом появились — в школу пошла. Мать с отцом первыми в колхоз записались, и сестра с мужем, и еще восемь семей. А как их подожгли, — Гула того огня не видела. С детьми сестры в лесу была, ягоду собирала. Там и разыскал их посланный из деревни гонец: «Домой не вертайтесь».

Приютила их моя бабка. Опять соседки по старой памяти носили ей кто что мог. Но время было страшное, хлеб почти весь в поле остался, и в первую же зиму захирел, затих и без всякой болезни помер маленький Гулин племянник Мишенька. Потом прошел слух, что к лету в деревню явится немец, приезжал вроде бы сам комендант, осматривал хаты. Потянулись мои односельчане — старики да женщины с детьми — в лес. После войны было много споров, кто партизан, а кто нет. В лесу жили всем колхозом. На полсотню стариков, баб и детей было три

автомата да с десятка полтора гранат. Когда через полгода наткнулись на это поселение настоящие партизаны, было сказано: вы наш резерв. Что это такое, никто не мог объяснить: партизаны привезли два котла, ящик мыла, потом стали доставлять тюки с исподним грязным бельем. Я это время знаю по рассказам бабки: «Такое хозяйство развели, сам начальник партизанский приезжал и дивился. Надо, говорит, к вам моих орлов на экскурсию направить. Это, что мы в лесу живем и чистые ходим». Бабка моя никогда не называла себя партизанкой: «Партизанов я и не видела в глаза. Но были, это правда. Какую рубашечку возьмешь, кровь запеклась, дымом пахнет — партизанская».

После войны бабка с Гулой и племянницей ее Шурой поселились вместе. Тут вернулась я. Бабкина хата чудом уцелела от огня. «А чему там было и гореть?» — объясняла она. Теперь на фоне срубов и землянок бабкина хата казалась осколком довоенной, утерянной жизни. По вечерам в палисадник набивались бабы. Садились на порожек, на старую, вросшую в землю скамейку, вспоминали. Мы с Гулой брали с собой Шуру и уходили к Яшкиным окнам. Там собирались вечерами наши сверстницы. В ту осень картошку выкопали рано, школу еще не открывали, дождей не было, и мы, что ни вечер, собирались под окнами Яшкиного дома. Яшке отец привез из Германии аккордеон, и он на нем играл. Был он парень красивый, заносчивый и не всякий вечер обращал внимание на наши зазывные песни. Тогда мы просили Гулу:

— Гулочка, скажи ему, чтоб проняло.

Она выходила вперед, и мы все замирали, ожидая, что будет. Каждый раз нам казалось, что Яшка в ответ на Гулпны насмешки откроет окно и запустит чем-нибудь увесистым. Но он вел себя кротко, появлялся на крыльце в накинutom полущубке, под мышкой сверкал сказочными огнями аккордеон. Мы отправлялись к речке. Там, на откосе, жгли костер и пели.

В эту же осень Гула стала работать почтальоном. Открылась школа. Я пошла в седьмой класс. Десятилетняя Шура — в первый. Бабка моя в ту зиму слегла и общими заботы по хозяйству сблизили нас с Гулой. Завели козу, хитрую, белобородую образину, которая без передыху прыгала и норовила сбежать. Доила ее Шура, мы с Гулой в это время держали козу за ноги, проклиная весь ее род.

Коза сделала нас посмешищем в деревне. Встречаясь с нами на улице, односельчане спрашивали: «Чего такие молчаливые? Коза сбежала?» Терпение наше лопнуло в тот день, когда ненавистная скотина ворвалась в хату, сжевала Шурочкин букварь и переваляла табуретки. «Хватит!», — сказала Гула, и мы ночью повели нашу мучительницу в райцентр, на базар.

Бабка поднялась в марте, незадолго до того события, которое перевернуло нашу жизнь. Утром соседка привела в хату неожиданную гостью — Гулину сестру. Уже зная от соседки все, что с нами было и есть, она, не поздоровавшись, сразу кинулась в крик.

— Мишенька! Где ты мой деточка?! Куда дела моего сыночка? — худая, растрепанная, она надвигалась на Гулу.

Бабка встала между ними.

— Опомнись, что говоришь!

Шура сцепила руками мою шею и шептала: «Прогони се. Это не мамка».

— Шура! — не обращая внимания на крики сестры, позвала Гула. Девочка подошла к ней. — Это твоя мать вернулась. Теперь будешь с ней жить. Когда отойдет, расскажешь, как все было...

Сестра затихла, Гула подошла к ней, сказала:

— Больше ты мне не сестра.

И вышла из хаты. Ночевала у соседей. Три дня, пока Шурина мать жила у нас, сердобольные бабы пытались свести сестер, помирить. Старшая уже раскаивалась, плакала и сама ходила к Гуле за прощением. О чем они говорили, никто не знает. Только после этого разговора сестра сразу уехала и увезла с собой Шуру.

Гула к нам больше не вернулась. Поселилась на хуторе, у старой Ганны. Бабка моя переживала: «Не вступились мы за нее как следует. Вот она и отказалась от нас». А я обиделась и не искала с ней разговора, хотя часто встречала на улице, когда она разносила почту.

Заговорить нам довелось только осенью. Лил проливной дождь. Гула шла из соседнего села, выставив вперед голову, и видно было, что ноша ее тяжела и ноги с трудом одолевают грязь.

— Гула! — окликнула я.

Она не сразу отозвалась, отшагала метров двадцать, потом крикнула:

— Беги! Замокнешь!

Я, поскальзываясь и закрывая корзиной голову, нагна-
ла ее.

— Ну, и шпаришь ты, Гула, мужик не угонится.

Она засмеялась и сбавила шаг.

— Как тебе живется, Гула? С Ганной ладишь?

— Живем!

Она сказала это слово лихо, будто нукнула на коня:
«Э-э, пошел!»

— Тяжелая твоя работа. Не надоело?

— А чего там...

Разговор не получился. Когда мы вошли в село, Гула
сказала:

— Бабуле твоей на кофту наберу. В город поеду
и куплю. Ты скажи ей.

Я сказала. Бабка долго качала головой, потом запла-
кала: «Сама-то кофты новой не нашивала, горькая». У
бабки моей все были горькие, все неудальщики, непуте-
вые головушки.

В пустом амбаре на окраине деревни мы устроили
клуб. Упросили председателя, чтобы назначил Яшу заве-
дующим, и стали собираться там по субботам. Приходила
и Гула. Стояла у двери, где толпились дети, насыпала
в их подставленные ладони семечки, щелкала сама и ки-
дала с горсти шелуху через плечо. Парни к ней почему-то
не подступались, так и стояла она весь вечер сначала
в толпе детей, потом одна. Под самый конец гуляпки,
когда свет в лампах от духоты начинал помигивать, Гула
выходила на круг. Тут Яша оживлялся, скидывал с себя
истому, и пальцы его на клавишах аккордеона начинали
прыгать. Гула танцевала почти на одном месте, подняв
согнутые в локтях руки над головой, платок у нее спол-
зал на плечи, в глазах появлялась ярость. Я помню, что
в эти минуты мне тоже хотелось так же поднять руки
и бить каблуками об пол под Яшкину бесовскую музыку.
Но я стояла на месте, и девчата тоже стояли, и глаза
у каждой горели.

Гула принесла бабке на кофту под Новый год. Жили
мы тогда еще в старой хате. И помню, что гостья, от-
крывая дверь, больно стукнулась о дверную перекладину.

— Не ходишь к нам,— пожурила бабка,— ни писем,
ни пенсиев не носишь, вот бог тебя и стукнул, чтоб
носила.

Гула потеряла ладонью голову, достала из-под фуфайки сверток.

— За все ваше доброе.

Бабка поджала губы, положила ладонь на сверток и, как мне показалось, равнодушно, даже с какой-то обидой ответила:

— Благодарствую.

Не засиделась у нас Гула. Тут же поднялась, сказала:

— Пойду, Яшке Климову — повестка. — Посмотрела на меня так, будто ждала от меня чего-то, и вышла.

Яшку провожали в армию негромко. Мать его позвала только родственников, а мы, как тогда, когда еще не было клуба, топтались под его окнами, затягивали свои песни, подпевая нестройным голосам, доносившимся из хаты. В полночь, когда народу у Яшкиной хаты прибавилось, пришла Гула, отвела меня в сторону.

— Позови Яшку.

Я вошла в горницу, Яшка сидел за столом в полосатой рубашке при галстукке, распаренный, как после бани.

— Иди сюда, — кивнула я ему с порога.

Он не поднялся. Тогда я подошла к нему и шепнула на ухо:

— Гула тебя вызывает.

Яшка посмотрел на меня замутненными глазами, поднялся, но вдруг передумал.

— Пусть сама идет.

Хозяйка поднесла мне стопку с вином, потом, вспомнив, что пропустила час, когда всем незванным гостям открывают дверь, проводила к порогу: «Кличь всех, пусть заходят». И все, кто дождался этого часа, вместе с морозным облаком ввалились в горницу. Пока раздевались, рассаживались, я не видела Гулы. Потом увидела. Она сидела, сжавшись, словно пряталась от кого-то. Все стали просить:

— Яшенька, сыграй последнюю, на дорожку.

Яшка взял аккордеон, привалился плечом к печке, и вдруг недобрая улыбка прошла по его лицу.

— Гула, — сказал он, — тебе буду играть. Танцуй.

Гула посмотрела на него и покачала головой: нет.

— Спойте давайте, — чье-то доброе сердце попыталось выручить Гулу.

— Не желаешь? — громко спросил Яшка и через всю горницу направился к тому месту, где она сидела. Растя-

нул у нее над ухом аккордеон, сыграл выход. Гула не шевельнулась.

— Или тебе народ не тот? — спросил Яшка. — Или тебе в клубе привычней, а может, на сеновале у Ганны?

Я замерла и подумала: сейчас Гула уйдет. Даст Яшке по морде и уйдет. Но Гула вышла на середину, подняла руки, несколько раз топнула, потом закрыла лицо руками и бросилась к двери.

Никто не побежал за ней вдогонку.

В нашей деревне каждому отпущено жалости сверх всякой человеческой нормы. Жалеют сирот, погорельцев, жалеют пьющих и даже тех, кто на поминках норовит тайком набить карманы угощением. Нет только жалости к молодой девке, уступившей парню до порога сельсовета.

Даже старая Ганна, которая жила на отшибе и не вникала в сельские пересуды, чуть не отказала своей постоялке от хаты. Она пришла к нам и от самой калитки повела свою речь: «Что же это такое, голубочка моя Макарьиха? Я ее, как дочь родную. Велосипед хотела купить. Пусть, решила, ездит, раз работа ее такая. А опа что за это? Я этот сеновал теперь спалю! Спалю, Макарьиха, и не защищай ее».

К удивлению моему, бабка не защищала Гулу, кивала головой и с укоризной глядела на меня: дескать, смотри, не оплошай. Не пожалели Гулу и сверстницы. «А гордилась как, гордые все этим кончают».

Через такое плотное кольцо осуждения я и не пыталась пробиться. А хотелось поговорить. Нет, не пожалеть, а спросить: «Что же это, Гула? Любовь?»

Теперь на улице недобро смотрели ей в спину, брали письма у порога и тут же кидались к печке, к делам. Кричали на дочек: «И тебе захотелось на Гулину дорожку?»

Весной, в конце марта, хаты облетела еще худшая новость — ушла Гула, пропала. Повесила свою почтовую сумку на крыльце правления и исчезла. В том же году, летом, я уехала из села, поступать в университет.

На первые же каникулы ко мне заявили гости: две мои бывшие одноклассницы и Ганна. Кое-как удалось уломать коменданта — койки в каникулы пустовали, — и они прожили что-то дня три или четыре. Каждая тайком от других просила меня разузнать о Гуле: «В городе она, здесь недалеко живет...»

Я о ней вспоминала часто. Бабка отдала мне ту дареную материю, я отнесла ее в ателье, и три года это была моя самая нарядная кофта. И Петька увидел впервые меня в ней. Недавно вспомнил: «А смешная ты была, тощая, еще кофта у тебя была какая-то идиотская, желтая с синими кляксами».

О том, что Гула вернулась, я узнала из бабкиного письма. Букв она знала не больше пятнадцати, но писала подробно, живо, как говорила. Письма ее я переписывала, расписфровывая каждое слово. В тот раз бабка писала, что «Гула, как будто ее кто ждал, объявилась. В одной руке чемодан, в другой мальчонка. Пальто городское, на голове беретка (на этой «беретке» я голову сломала, написано было «бртка»), туфли новые. Поселилась у Ганны. Будет опять письма и пенсии носить. Мальчик хороший. Назвала Мишей. Черненький, зубки белые, Ганну зовет «бабой». Народ наш Гулу признал, была она на крестинах у Надькиной Алены. Ганна всем говорит, что мальчонка не Яшкин, что Гула его в детском доме взяла, очень уж он похож на племянника ее, что в войну помер. А Яшкина мать Татьяна вид делает, что он ее к себе в город зовет, а она вроде бы к нему поедет. Ничего этого не будет. Кто дитя свое кинул, тому и мать не нужна»...

В последний раз я видела Гулу, когда приезжала на бабушкины похороны. Стояла Гула в толпе плачущих женщин, и поговорить с ней не пришлось.

Была одинока в последние годы своей жизни моя бабка. Все ждала, что выучится внучка, придет, и тогда повернется жизнь ее «на шестнадцать кругов».

Я сидела у гроба тихо и не кричала, как положено: «Бабонька моя! Что же ты наделала, одного дня не дождалась до моего приезда»... Не увидела бы меня бабка, будь жива в этот день: через две недели начинались госэкзамены, а потом самые трудные в моей жизни годы. Бывали дни, когда от обиды и досады останавливалось сердце. Редактор читал очерк. «Слабо, наивно, сплошной лепет». Ломалась попутная машина. А ты в командировке, и осень, и ночь, и до первого огонька — двадцать километров. Или еще такое. «Петька, у нас кто-то будет»... И как все непохоже на то, что бывает в кино, когда будущий отец балдеет от счастья... «Слушай, а имеем ли мы на это право? Квартиры нет и не предвидится. Я не против, но решай сама». В такие минуты ко мне на помощь

приходила Гула. Она никогда не плакала. Ничего не просила. Никого не укоряла. Она могла. Могла сама справиться с любой бедой.

Что ей помогало? Гордость? Должно быть, не только она. Была в ней особая женская сила. Иначе Гула не вернулась бы на то место, которое слабый постарался бы забыть.

Я уже много лет сочиняю ей письмо и когда-нибудь все-таки его отправлю. При каждой встрече расспрашиваю земляков и радуюсь, когда слышу: «Что Гула, ничего с ней не делается. Живет».

С утра до вечера

В последнее время Таня стала провожать его на работу. Выходила в коридор, стояла, привалившись к дверному косяку, говорила что-нибудь пустячное: «Слушай... наконец-то я разгадала, почему у тебя, когда уходишь, чужие глаза. Во всем виноват шарф. У него мертвый цвет». Он ничего не отвечал, — мертвый цвет, живой цвет, пашла о чем говорить. Таня, стоявшая в двух шагах, была уже далеко от него, он видел ее и не видел, заботы предстоявшего дня разобщали его в эти минуты с реальностью: с домом, Таней, ее словечками.

В это утро она так же стояла в коридоре, откинув голову, но без улыбки, и глаза ее прозрачно, с укором глядели мимо него. Роман Сергеевич знал этот взгляд, за ним всегда следовала просьба — не семейная, а такая, какую он должен был решить в служебном порядке. Каждый раз он огорчался, кричал на Таню, умолял не лезть не в свое дело, потом раскаивался и как бы в искупление делал то, о чем она просила.

— Ты жена, — говорил он ей, — всего лишь жена секретаря райкома. А ты все путаешь и делаешь из этого чуть ли не должность.

— Я несчастная женщина. — Таня умела смягчать его, обезоруживать грустным голосом. — Если бы у меня муж был железнодорожник, я бы не была такая несчастная.

Он терял нить разговора и с интересом спрашивал:

— Почему железнодорожник?

Роман Сергеевич торопливо одевался и думал, что еще секунды три — и он успеет ускользнуть от Таниных слов.

Главное, не поддаваться любопытству и строго на ходу пресечь: «Потом. Вечером». Он уже открывал дверь, когда она сказала ему в спину:

— Приехал Молчанов. Будет тебе сегодня звонить.

Ах, вот оно что... Он обернулся, и лицо у него сделалось корявым и старым. Он почувствовал это — Таня как-то сказала: «Когда ты расстраиваешься, лицо у тебя сразу старое-старое, в гармошечку».

— Какой Молчанов? Я его знаю?

— Не прикидывайся. Прими его. В прошлый раз ты с ним нехорошо обошелся.

В прошлый раз... Он смотрел на жену и видел, что она смущена. Но это было какое-то настойчивое, упрямое смущение. Дескать, вот так: мне стыдно, я погибаю, но не сдаюсь.

— Не надо так страдать,— сказал он ей жестко,— я приму его. Куда уж мне деваться.

Потом он шел по улице и думал, что Таня знала о приезде Молчанова еще вчера. Когда они вечером говорили об отпуске, она знала, что Молчанов здесь, приехал.

В райкоме чистые, еще сыроватые полы источали прохладу. Зинаида Васильевна была на месте. Он не видел ее лица, солнечный свет бил в глаза, заметил только, что она сегодня в чем-то красном. Он хотел было подойти к ней, но раздумал и прошел в кабинет. Вспомнился вдруг разговор с Молчановым.

— Ты Зинаиду Васильевну свою не очень хвали, остерегайся.

— Как понимать?

— Неравнодушна к тебе — так и понимай.

Молчанов умел выбивать его из колеи, загонять в угол. Роман Сергеевич после этих слов густо покраснел и, стыдясь, осторожно спросил:

— Откуда такие сведения?

— Сведения! — Молчанов долго не мог унять хохот. — Слушай, я должен записать это словечко. Это ж надо докатиться до такой жизни: ему говорят — ты любим, а он — откуда такие сведения?

Он перетерпел и этот хохот, и еще какие-то обидные слова Молчанова насчет своего механического, созданного для кибернетического века сердца, с опаской несколько дней поглядывал на Зинаиду Васильевну, потом обдумал этот разговор и успокоился. Молчанова хлебом не корми —

дай только поговорить на излюбленную тему. Наболтал, хотел смутить, посмотреть, что из этого получится. Неравнодушна... Этому он, если бы даже захотел, никогда не смог бы поверить. Не за что: суровый, мрачный, некрасивый. Таким был молодым, таким и остался. Таня? Таня не в счет. Если глядеть на их молодую любовь с расстояния в двадцать с лишним лет, можно уже не обманывать себя: Танину любовь он выстроил сам, по кирпичику, не одним днем и часом...

Роман Сергеевич прошел в кабинет, разделся и благодарно посмотрел на молчавшие телефоны. Изумрудное сукно на большом письменном столе, казалось, притягивало солнечный свет: можно положить на него ладони, щеку и почувствовать себя мальчиком на летней лужайке. Он так однажды и сделал — лег щекой на сукно и замер от страха: вдруг без стука откроется дверь и кто-нибудь войдет и подумает, что «первому» плохо.

— Зинаида Васильевна,— сказал он в телефонную трубку,— что у нас там сегодня?

— Пять человек принимаете утром. В половине пятого — бюро. И еще... звонил Молчанов.

— Знаю,— сказал он резко и бросил трубку. И тут же устыдился своей резкости, вышел в приемную, подошел к столу Зинаиды Васильевны.

Она вспыхнула, опустила глаза, Роман Сергеевич понял, что она тоже сочувствует Молчанову.

— Вы что-то хотите сказать? — спросил он ее. В неприятных ситуациях Роман Сергеевич привык идти напролом, хотя всякий раз ежился и страдал, ожидал исхода.

Она подняла глаза, отвела взгляд в угол и медленно без всяких интонаций произнесла:

— Вы учились вместе, Роман Сергеевич. Дружили. А потом у вас жизнь сложилась по-разному. Мне его жалко.

— Понятно,— сказал он,— вам его жалко, а мне его не жалко. Так?

Она кивнула: так. Роман Сергеевич уже раскапвался, что затеял этот разговор, не мог ничего придумать, как его закруглить. Не поймет она, да он и сам не понимает, почему не жалко. Да, учились вместе, дружили, а теперь — хоть убей,— не жалко.

— Он талантливый,— сказала Зинаида Васильевна

все тем же бесстрастным голосом, — а все талантливые люди плохо приспособлены к жизни.

Впервые он почувствовал к ней раздражение: аккуратная, точная, с прекрасной памятью — и все. И больше ничего.

Он тоже год назад поверил и посочувствовал Молчанову, голосу поверил, таланту и еще вот этому, о чем сказала Зинаида Васильевна — учились вместе... дружили... а потом жизнь сложилась по-разному. Он слушал тогда Молчанова и думал, что не всегда человек бывает хозяином своей судьбы, иногда судьба распоряжается и тащит за собой человека. Вozил его на «газике» по району, досадовал, что Молчанов на все смотрит вприщурочку, как с другого берега. Он говорил Молчанову: «Два года назад тут такое бездорожье было — колдобина на колдобине. А сейчас, заметил, ни разу порядком не тряхнуло?» Молчанов отвечал: «Этот лесок точная копия пейзажа Шикотана. Тебе не доводилось бывать на Курильских островах?»

Роману Сергеевичу после войны мало где довелось побывать, и поначалу ему казалось, что именно этот пробел в его жизни мешает их разговору: ты где только не бывал, а мы тут сидим от урожая до урожая... Потом попал: другое мешало и раздражало — Молчанов ни к чему в жизни не прикипел. Ездил, видел, а что видел? — то увидеть можно было и в кино. Пропал к нему интерес. Насторожил и не понравился вопрос:

— Как ты отнесешься, если я все начну сначала?

— В каком смысле?

— В прямом. Всю жизнь начну писать набело.

— В сорок три?

— В двадцать такое решение не принимают.

Роман Сергеевич сказал:

— Начинай, — и замкнулся, не мог одолеть себя, сразу почувствовал, случится что-нибудь нехорошее, ненужное.

Таня, когда он ей это высказал, расстроилась.

— Ты весь в этом, по твоей схеме должно случаться только нужное и правильное. А пришел человек растерянный, протянул руку за помощью, ты и съезжился.

Он постеснялся спросить у Молчанова трудовую книжку, осторожно выспросил, где тот работал в последнее время. Оказалось, в театре, в непонятной для Романа Сергеевича должности завлита. Таня объяснила, что это

творческая, литературная работа по отбору пьес для репертуара. Она тогда просто голову потеряла, устраивая новую жизнь Молчанову. Интересно, так же бы она старалась, если бы знала, что Молчанов начнет писать свою жизнь набело не один...

Роман Сергеевич вернулся в кабинет и с облегчением увидел, что почтп следом за ним вошел грузный, огромный Семычкин, директор самого дальнего в районе совхоза. Всякий раз, встречаясь с этим великаном, Роман Сергеевич заново привыкал к нему: к его багровому, словно ошпаренному, лицу, к медленным движениям и словам. Казалось, что Семычкин экономит силы, чтобы справляться со своим могучим телом, и поэтому глаза у него наполовину прикрыты веками, и руки, когда он сидит на стуле, не лежат на коленях, а свисают до пола, как плети. «Когда-нибудь он чихнет,— говорили остряки,— и придет строить новое здание райкома».

Роман Сергеевич давно знал и любил Семычкина, в разговоре держался с ним настороженно, зная, что великан хитер и каждое слово, пущенное неосторожно, поймает и обернет в свою пользу. На этот раз Семычкин приехал выбивать раньше запланированного срока автомашины, но разговор повел издалека.

— Знаешь, Роман Сергеевич, как лапти плетут?

— Слышал.

— Слышать — еще не знать. А ты знай: для лета плетут в один ремешок, а для осени и зимы поплотней — в два. В два — это называется с подковыркой.

— Хоть с подковыркой, хоть в три ремешка, а машины раньше не получишь.

Тяжелые веки Семычкина дрогнули, что-то вроде улыбки изобразили губы:

— А хрен с ними, с машинами, не в машинах счастье.

— А в чем?

— В людях,— он нарочно ударял на последний слог, что-то уже поменял, переиначил в своих планах, неподвижный взгляд красноречивей слов выговаривал: «Я свое дело, секретарь, сделаю, и машины ты мне сам в карман положишь».

И сделал. Роман Сергеевич не выдержал, рассмеялся. Как дважды два доказал, что стропельство гусиной фермы, будь у него сейчас две машины, через месяц закончится.

— Ну, брат, видал демагогов, а такого, как ты, хоть на ВДНХ выставляй.

— Еще и медаль дадут, — лицо Семычкина полыхало в улыбке, — только не за демагогию, а за мясо. При пешнем положении я, можно сказать, тебе весь райоп по мясу вывезу.

— На машинах?

— На машинах.

— Мне?

— Для другого б и не старался.

Разговор был закончен. Семычкин поднялся, глубоко вздохнул, и Роман Сергеевич вдруг увидел, что не старый еще директор самого дальнего и большого в районе совхоза серьезно болен. Все это гигантское тело держало, двигало, управляло, видимо, самых обыкновенных человеческих размеров сердце. Багровое лицо, желтые раздувшиеся кисти рук...

— Слушай, как у тебя со здоровьем? С сердцем?

В глазах Семычкина мелькнуло что-то похожее на страх, он помолчал несколько секунд, ответил серьезно, направляясь к двери:

— Не пугай.

Вне очереди в кабинет прошел председатель райисполкома, с проектом санитарно-защитных зон вокруг стекольного завода. Роман Сергеевич слушал его громкую торопливую речь, смотрел схемы и чертежи и морщился от многословия, которым страдал молодой председатель. Отчаявшись понять суть и детали проекта, он попросил председателя оставить папку, решив, что вечером разберется во всем этом сам.

Председатель обиделся, он был молод, горяч и обидчив. Роман Сергеевич глядел на него и с грустью подумал, что за дверью сидят и ждут приема четыре человека. Возможно, и пятый уже сидит и ждет.

— Когда свадьба? — спросил он вдруг. Председатель замер, потупился, вопрос прозвучал громко и по-служебному требовательно.

— Еще не решил, но, видимо, осенью. — На скулах председателя выступил румянец.

— Тянете. — Роман Сергеевич откинулся на спинку стула, досадуя на себя, прикрыл ладонью глаза, уж так оно пошло с самого утра: думаю одно — говорю другое.

Председателя не надо было спрашивать о свадьбе: не по его вине она откладывалась. Невеста жила в областном центре, и, как говорили, не решалась расстаться с цивилизацией. Роман Сергеевич видел ее с месяц назад: ничего особенного — тоненькая, плоская, личико безбровое, меланхоличное. Тогда, помнится, подумал: если по такой страдает — значит, любовь. К красивым женщинам Роман Сергеевич относился сочувственно: к таким и без любви, как к яркому цветку, может потянуться мужчина. Может, от того среди них бывает много обманутых.

Та, которую привез Молчанов, была красивой: длинные прямые пряди волос блестели и переливались, глаза были светлы и прозрачны — русалка, и другого слова не подберешь. У нее была манера безмятежно, откинув голову, глядеть в лицо собеседнику. Таня говорила, что так смотрят дети и очень самоуверенные женщины. Таня ошибалась: так смотрят еще и актрисы, лицом, глазами, играя интерес и доверчивость. Это Роман Сергеевич понял не сразу, а три месяца спустя, когда она появилась у него в кабинете. Сначала она глядела на него жалобно и доверчиво, говорила тихо. Он не поддался: «Вы уж как-нибудь там сами с Молчановым разберитесь».

— Молчанов — подлец, — доверчивость в глазах исчезла. Он увидел ее новое лицо, усталое, обозленное, и, странно, оно показалось ему по-человечески более красивым. Он увидел это, хотя мог бы и не увидеть, слова вылетали из нее, как выстрелы, сухие и ранящие, и он почувствовал тогда досаду и беспомощность. Так с ним давно, нет, пожалуй, никогда никто не разговаривал.

— Молчанов — подлец, но и вы не лучше. Моя загубленная жизнь для вас обоих пустой звук.

Она грозила привлечь их обоих к ответу, спрашивала: «Какие вы примете меры?» Он молчал, хмурился и думал: «Только тебя мне с Молчановым и не хватало».

До сих пор он не знает, на чем они там в своей новой жизни не сошлись: разлюбил ли Молчанов эту красавицу или обманула их обоих своим несовершенством сельская идиллия, только история эта получилась скверная. Актриса выпила какой-то дряни, попала в больницу. Роман Сергеевич вызвал Молчанова, не поднимая на него глаз, сказал:

— В двадцать четыре часа выметайся.

Он мог бы сказать Тане: «Я это знал. Предупреждал».

Но он не сказал. Она сама в те дни много говорила, стараясь что-то объяснить ему и себе: «Молчанов — идеалист, человек с затянувшимся периодом детства. Спасти его может только сильная, строгая жепщица». Роман Сергеевич слушал эти слова и обрывал жепу: «Сильная и строгая. Это ты о себе?»

Объяснил ему тогда эту историю старый председатель колхоза, которому он сосватал Молчанова в заведующие клубом.

— Ты это дело из сердца выкинь. Человеческая дурость родится из скуки, а скука — из серости душевной.

...Впрочем, не все на свете можно объяснить. Роман Сергеевич это знал еще тогда, в сорок пятом. А Таня не знала. И ее сверстницы — студентки, в бедных платьицах первой послевоенной осени, не знали. И на все хотели получить объяснение, найти точный ответ. Затевали диспуты: что такое дружба? Что такое любовь? Волновались, спорили. Он слушал их и удивлялся: зачем они об этом говорят? Смотрел на Таню и думал: я люблю тебя, и мне совсем не хочется знать откуда это пришло, для чего. Она тогда еще ничего о его любви не знала. Витя Молчанов кидал ей на лекциях записки, она читала и, морща губы в улыбку, писала ответ. Белые квадратики летали по аудитории, он закрывал глаза и видел, как они множатся, снуют и жужжат, словно белые мухи, и нечем дышать, незачем жить. Он как-то сказал ей: «Таня, совсем недавно была война. Многие не вернулись. Надо жить серьезно, за себя и за них». Она погладила полоски орденских плапок у него на груди и ответила: «Если все будут серьезными, умрет на земле радость».

Он захотел стать радостным. Молчанов пел на вечерах со сцены, прыгал в белой майке у волейбольной сетки. Роман купил коньки, до красных кругов в глазах истязал себя на льду стадиона. Мечтал стать чемпионом института. Научился танцевать. Опережая Молчанова, приглашал Таню. В одном только недосыгаемо первенствовал соперник — писал стихи. В редкие часы, когда Роман был с Таней рядом, она нараспев читала ему эти стихи, спрашивала:

— Ведь, правда, Ромочка, он очень талантлив?

Именно с молчановскими стихами связано самое трудное воспоминание о его жизни. Даже сейчас, когда вспоминает, краснеют уши и першит в горле.

Таня читала стихи, говорила о Молчанове:

— Поэты — люди сверхъестественные. Они как факиры, как демоны... Их жизнь окружена тайной.

От той поры осталось много обидных воспоминаний: как Таня забыла на скамейке цветы, которые он ей подарил, как плакала у него на плече, узнав, что Молчанов «бегает» за молодой преподавательницей английского. Он придумал для себя утешительную философию: Тани — моя первая любовь, а первая любовь потому и зовется первой, что никогда не бывает последней. Он ждал, искал другую девушку, свою вторую любовь, но никак не мог вычеркнуть из сердца даже в то время Таню.

Она разглядела его, откликнулась через два года. Уехала на каникулы домой и оттуда прислала письмо. Он читал листки, исписанные ее круглым, детским почерком, и теперь, спустя многие годы, мог повторить это письмо без запинки от первой до последней строки.

Прием заканчивался. Остались две самые трудные встречи — с Ангелиной Власьевной, директором школы, бывшей его и нынешней Таниной коллегой, и Молчановым. Ангелина Власьева приходила в райком раз в месяц. Властно, не допуская возражений, излагала школьные нужды, напоминала ему, что для партийного работника, если он ленинец, а не ходячий догматик, самое главное в завтрашнем дне — сегодняшние дети. Он слушал ее терпеливо, дожидался той минуты, когда она спонит с лица суровость и, вздохнув, спросит: «Ну, а сам-то как?» Этот вопрос она всегда берегла к концу, и он, радуясь, что она скоро уйдет, как отличник на уроке, четко и торопливо выложит ей все начистоту: сам и так и сяк — дела одолевают. Дома? Про это Таню надо спрашивать, он не вникает.

С Ангелиной Власьевной были связаны самые трудные годы их семейной жизни. Приехали после института с одним чемоданом, сняли комнату на окраине города. Хозяйка говорила соседям: «С высшим образованием. На дипломе спят, дипломом укрываются». Вот тогда появилась в их жизни Ангелина Власьева, еще не директор, учительница начальных классов. Принесла одеяла, подушки, посуду. В воскресенье приглашала к себе, мирила их, когда они ссорились, одалживала перед получкой деньги.

Он не забывал то доброе, что принесла в их жизнь Ангелина Власьевна, и все же никогда не питал к ней по только нежности, но даже интереса. Не понимал Таню, которая строчила ей из отпуска длинные письма. Спрашивал ее: «Лучше Ангелины и людей нет?» Таня отвечала: «Таких справедливых и добрых не очень много». Он же всякий раз томился, слушая справедливые и добрые речи Ангелины. Однажды даже подумал: «Ничего удивительного, что осталась старой девой».

Вот и сейчас не меньше пятнадцать минут она как молотком вколачивает в него слова о ремонте школы. Ремонт запланирован, никто на него не покушается, а она уже заранее обкладывает строительное управление, вооружается против него до зубов: «Сейчас опи, как овцы, все принимают, подписывают, а наступит июнь, и ищи-свищи, знаю я их...» Он понимает, чего она от него ждет — слов, той неписаной цитаты, которой потом можно будет изничтожить своего врага — подрядчика.

— Ремонт школы в летнем плане СМУ идет в ряду срочных объектов,— говорит он.

Взгляд Ангелины Власьевны теплеет, она уже ждет вопроса: «Ну, а сам-то как?» Но она не спешит, еще на десять минут заводит речь, как травмируют родителей списки успевающих учеников, которые завком стекольного стал вывешивать в цехах.

— Снимем списки,— говорит он устало и неожиданно для себя спрашивает: — Всё?

Она каменеет, отворачивает голову и смотрит на него, как птица, одним глазом. Потом, словно в отместку, произносит медленно и значительно:

— А этот, твой Молчанов, сидит там,— кивает на дверь,— заждался. Ты его не очень жучь. Жалко.

И ей жалко. Ушла. Роман Сергеевич сдвинул ладонями голову, не может быть так, чтобы все были неправы, а ты один прав. Не может быть, но бывает...

— Зинаида Васильевна,— снял телефонную трубку,— пригласите Молчанова.

Они не виделись два года. Молчанов в замшевой спортивной куртке, молодежавый, хоть волосы и серебрятся на висках. Остановился в дверях, сузил глаза, спокойный, доброжелательный. Как и в прошлый раз, Роман Сергеевич задержал вздох и почти с восхищением подумал: «Красивый, гад».

— Садись,— говорит он и тоже щурит глаза: чего уж тут — с тебя как с гуся вода, а нам стесняться? — Рассказывай, с чем на этот раз пожаловал?

Молчанов опускает голову, потом быстро вскидывает, спрашивает:

— Может, убраться ко всем чертям? Я же вижу, как ты настроен.

Роман Сергеевич вбирает голову в плечи, дескать, сам решай, что тебе делать — я тебя не звал, не ждал, и вообще, Молчанов, распорядись на этот раз собой сам.

— Не получится у нас разговора,— говорит Молчанов,— чувствую, что не получится. А жаль.

— Ты начинай,— спокойно отвечает Роман Сергеевич,— вдруг да и получится.

Молчанов начинает издалека.

— Есть пророческие слова в одном Священном писании, ты, возможно, знаешь их: насчет того, что всему свое время — разбрасывать камни и собирать их. Я много на-разбрасывал, дай мне возможность собрать, хоть часть их, и сложить.

Он вдруг умолкает и многозначительно глядит на Романа Сергеевича, потом продолжает.

— Не буду тебя задерживать. Вернулся я сюда с одной идеей: написать книгу о деревне. Лучше бы, конечно, в другое место податься, но кому я нужен... А ты мне можешь, если не забыл мои стихи и веришь, что талант был. Он и остался, что-то, а талант я не тратил...

— Какую книгу? О чем? — спрашивает Роман Сергеевич.

— О жизни.

Роман Сергеевич поднимается и растерянно глядит в окно. Он чувствует, что если взглянет в лицо Молчанову, то непременно ляпнет что-нибудь вроде того: «А кто тебя уполномочил?» Такое уж в нем сидит убеждение, что книги пишутся не каждым. Не каждый имеет на это право. Но как только он скажет это «уполномочил», Молчанов расхохочется: «Надо записать это словечко».

— Будешь писать книгу,— говорит он тихо,— будешь учить людей жить. Будешь учить людей тому, чего сам не умеешь.

— А Пушкин умел жить? — Молчанов тоже говорит тихо.— Я, как ты понимаешь, не сравниваю себя с Пуш-

киным. Но с обывательской точки зрения, он не умел жить.

— Пушкин страдал,— Роман Сергеевич поднимает голову и смотрит в глаза Молчанову.— Это было высокое страдание за народ.

— Были и другие страдания,— отвечает Молчанов,— просто личные и не всегда высокие, ты за Пушкина особенно не старайся, без тебя постарались: навели хрестоматийный глянec.

Еще минута — и он заговорит, загонит его в угол, Роман Сергеевич это чувствует и поднимается.

— Извини,— говорит он,— у меня через час бюро. Времени в обрез, только пообедать. Давай закончим разговор в другой раз.

Он не приглашает с собой Молчанова и первым выходит из кабинета. В приемной на него вопросительно смотрит Зинаида Васильевна. Так же вечером будет смотреть Таня.

Он идет по длинному коридору райкома. В самом конце его, у входной двери, под деревянной лестницей, ведущей на второй этаж, он видит Семычкина. Тот сидит на старом диване, на котором обычно отдыхает шофер Володя, и это сначала кажется Роману Сергеевичу странным, потом пугает. У Семычкина закрыты глаза, огромные ладони вяло покоятся на груди.

— Иван Васильевич,— шепчет он и склоняется над Семычкиным,— Иван Васильевич, что с вами?

В ответ Семычкин издает короткий хрип, и Роман Сергеевич облегченно вздыхает — спит.

Первый вопрос, который обсуждало бюро, касался технического образования сельской молодежи. Докладывал секретарь райкома комсомола, выступали комсомольские секретари, приехавшие по этому случаю из колхозов. Ответственные шен парней контрастно выступали из белых нейлоновых сорочек, девчонки-секретари, словно сговорившись, прибыли в розовых бельгийских свитерах. Роман Сергеевич глядел на молодых и тут же переводил взгляд на старую гвардию, членов бюро: эти тоже прифрантились, но здесь было больше индивидуальности в одежде — от узконосых лакированных ботинок до неизменных, доброй памяти, генеральских бумок. Семычкин

сидел в своей позе, свесив руки, равнодушно глядел в окно, которое было напротив. Роман Сергеевич уловил, что он чутко слушает. Заглянул в список и убедился — точно слушает: выступала комсомольский секретарь из его совхоза.

Девчонка была кругленькая, симпатичная, говорила мягко, с юмором. Ее слушали с улыбкой, кое-кто из старой гвардии кивал головой: «Так, так, правильно говоришь, умница». Но она вдруг сбила этот благодушный настрой, неожиданно рассердилась:

— Вот сидит наш директор товарищ Семычкин. Я ему именно здесь хочу сказать, как он относится к техническим талантам...

И выдала, как говорится, по первое число. Да на такую тему, что никто и не ждал.

— Корова племенная сколько стоит? Семьсот рублей, будет вам известно. Теленок новорожденный сколько весит? Семьдесят килограммов — вот сколько. У нас десять человек поначалу роды принимали. Ночью, случалось, колокол, как на пожар, звонил: собирайтесь люди добрые — корова телится. Мишу Кожемяко кто знает? Никто. Что сделал Миша? Родильный станок. Лебедку в принцип положил. Теперь любая маломощная старушка теленка принимает без всякой паники.

И тут она взялась за Семычкина. Другой бы директор и наградил Мишу Кожемяко, и в Москву бы его изобретение послал. И был бы патент у Миши, и слава на всю страну.

— Так что же, товарищ директор, — спросил в конце заседания Роман Сергеевич, — как будем впредь относиться к техническим талантам?

— Положительно. — Семычкин сказал свое слово размеренно и очень серьезно, по дрогнувшим векам Роман Сергеевич определил — обиделся.

— Слушай, — говорит ему Роман Сергеевич, когда они остаются вдвоем в кабинете, — как у тебя с кадрами в клубе?

— Один кадр, — Семычкин вздыхает, — один у меня кадр — заведующий клубом, и больше по штату не положено. — Он глядит на секретаря выпуклыми, сонными

глазами, и вдруг глаза просыпаются, в них мелькает усмешка,— хочешь мне Молчанова всучить?

Роман Сергеевич ежится: и Семычкин наслышан про Молчанова, на весь район, подлец, опозорил.

— Ничего я от тебя не хочу,— говорит он строго,— строй свою птицеферму и спи спокойно.

— Я его беру.— Семычкин сообщает это как бы между прочим, не интересуясь, какой эффект произведут на секретаря его слова,— мне люди нужны. Я уже с ним говорил. Он согласен.

— Он тебе наработает. У него свои планы. Смотри потом не раскaiвайся.

— А раскаюсь, так не облезу. Сам себя и пожалею, от тебя ведь жалости не дождешься.

Рабочий день закончился. Зинаида Васильевна принесла ему стакан чаю на блюдечке, зажгла свет и сказала уходя:

— Звонила ваша жена.

Он долго смотрел на телефон, водил пальцем по трубке, не решаясь ее снять. Наконец снял, назвал номер:

— Таня?

— Да, Роман,— пауза и быстрый, срывающийся голос,— я сначала должна это сказать по телефону. Потом ты все обдумаешь, успокоишься и мы обсудим в деталях. Ромочка, Молчанов должен остаться в районе. В конце концов — это и в твоих интересах, то есть района... Он напишет книгу, найдет себя. Ромка, ведь мы все друзья юности...

Он не дослушал, бросил трубку и вслух сказал:

— Дура.

Что же это такое? Может быть, любовь, которая не ушла от нее за все эти годы? Или чувство вины перед ним? Или он, старый ревнивый дурак, до сих пор разыгрывает роль соперника?

Он вышел на улицу и решил, что домой не пойдет. Будет ходить и ходить, сколько выдержат ноги. Есть люди без слуха. А может быть, есть — без жалости? И как глухому не спеть песни, так ему не понять чужую боль? Как это Семычкин сказал: «Сам себя и пожалею. От тебя ведь жалости не дождешься». Зачем нужна людям жалость? Неужели они не понимают, что жалость унижает. Всегда ли унижает? Дважды ему сегодня было жаль Семычкина: когда тот спал на старом диване и когда на

него ополчилась эта милая девчонка. А Семычкин пожалел Молчанова... Пожалел ли? А может, просто не побоялся, что тот его подведет. «А расскаюсь, так не облезу». Семычкину можно рассказываться, а ему, секретарю, такое рассказание, как запланированная ошибка... Совсем запутался.

— Роман Сергеевич! — он очнулся и увидел, что вышел на окраину и стоит на дороге, ведущей к стекольному заводу, взгляделся и узнал Ангелину Власьевну.

— Добрый вечер, — сказал он ей, — давно не виделись.

— Давненько, — усмехнулась она, — а списки эти паразиты все-таки сняли.

Он забыл о них и хотел спросить, какие списки, но побоялся, что она ответит и уйдет, а ему надо было поговорить.

— Нехорошо, — сказал он, — заслуженная учительница и вдруг «паразиты». Таким людям мы доверяем детей.

— Неужели выпил? — она вроде даже обрадовалась, — в честь чего бы это? С радости или горя?

— Да с того и с другого, такой уж день выдался.

Он взял ее под руку и, принаравливая свой шаг к ее торопливому, пошел обратно, к городу.

Мальчик в квартире

Дверь открыла Бронислава Федоровна.

— Приехал,— сказала она и взяла у Даньки старый раздувшийся портфель.

— На автобусе приехал. Одну укачало. Шофер остановился, а она, как пьяная, идет и качается. Все говорят: лимон ей, лимон.

— Дали лимон?

— Не знаю. Я ветку стал крутить, а она не откручивается. Один хотел нож дать, а тут шофер засигналил.

Бронислава Федоровна усадила его за стол, а он все говорил, говорил, пока соседка не остановила:

— Ешь. Про людей не говорят «один», «одна». Надо называть по имени.

Данька ел и поглядывал по сторонам. Он был счастлив. В том мире под соснами, в котором день начинался зарядкой и кончался мытьем ног под рукомойником, было неплохо. И все же счастье, что есть у него дом. Здесь никто не скажет: «Даня, если ты как следует подежурить, вымпел будет наш». Здесь можно жить, как живется, не думая, что утро — это «подъем», а вечер — «отход ко сну».

Оставив тарелку, Данька спросил:

— Видали жениха?

— Симиного? — Бронислава Федоровна поджала губы и стала смотреть в сторону. — Жених как жених. Тебя это не должно касаться.

Данька замолк. Бронислава охладела к нему с тех пор, как в квартире появилась Сима. Может, это и к лучшему. Раньше она чересчур о нем заботилась. Когда он в субботу заявлялся из детсада, она звала его к себе в комнату,

расстилала на полу клетчатый платок, спимала с диванной полочки мраморного медведя и зеленое яичко. Данька понимал, что это не обычные игрушки, и осторожно передвигал их по платку. Вечером Бронислава купала его на кухне, и, когда он обсыхал в кресле, завернутый в махровую простыню, она накручивала его мокрый чубчик на алюминиевый в дырочках цилиндрок. С него все и началось. Новая соседка Сима, заглянув как-то в комнату, возмутилась:

— Что это он у вас сидит с бигудей, как иднотик?

Бронислава уничтожающе посмотрела на нее через очки и сказала:

— В нашей квартире принято постучать, прежде чем войти.

Сима ответила:

— Пожалста,— и хлопнула дверью.

Данька помнит, как ему вдруг стало пеловко, голому, в чужой простыне, с «бигудей» на темени. В следующую субботу, когда Бронислава начала устанавливать корыто на табуретки, он прижался к стене и приготовился к бою. Она отдирала его от стены, а он сопел и не сдавался: когда силы псыякли, лег на пол и сказал:

— Пошла вон.

Корыто несколько раз падало в коридоре, пока наконец Брониславе удалось нацепить его на гвоздь, очки она сдвинула на лоб и вытирала глаза рукавом халата. Данька все лежал на полу. Она переступила через него.

— Неблагодарный. С такой матерью покроешься лишаями и фурункулами.

— Не покроюсь,— ответил Данька, перевернулся на живот и пополз к своей комнате.

Симе он был не нужен. В субботу и воскресенье, в те дни, когда Данька был дома, к ней приходил сантехник из домоуправления, худой, с татуировкой на руках, Витя. Звал он Даньку «Пифагором». «Что новенького в жизни, Пифагор?»

Сима однажды вступилась:

— Чего цепляешься к ребенку? Какой он тебе Пифагор?

— Пусть,— сказал Данька,— пусть говорит.

Ему нравился Витя. Он носил чистые белые рубашки, закатанные за локоть, и на руках у него темнели фиоле-

товые буквы. На этих руках Данька и постиг азы грамоты.

— Ве-и-тэ-я, кумекаешь? — Витя королевским жестом протягивал ему руку.

Данька кумекал. Он выучил двенадцать букв. Все те, что варьировались на Витиных руках. Неожиданным образом он ощутил их силу. Витя забыл на столе у Симы блокнот. Новенький, в красной обложке. Впервые Данькино сердце властно сказало: «Хочу. Хочу блокнот!» Ах, если бы Витя догадался: «Возьми! Даня. Бери, не жалко». Не догадался. Данька взял карандаш и написал на первой страничке печатными буквами: «Даня на».

— Вот дает! — сказал Витя Симе. — Смотри, что учудил. Это значит, я читаю и протягиваю ему. За такое и два не жалко.

Блокнот Данька не знал, куда деть. Мать пуще всего на свете боялась чужого. Когда он входил в комнату с конфетой, она допрашивала:

— Которая дала? В очках? Или сам взял?

Было в словах матери что-то недоброе. Данька старался съесть все, что ему давали, подальше от ее глаз. Мать все запирала: сундук, комнату, шкафчик на кухне. Стирала в комнате. Выбирала время, когда на кухне нет соседок, и тогда уж варила. В редкие минуты, когда нельзя было избежать разговора с соседками, щекп ее становились розовыми, она зачем-то прикладывала ладонь к горлу, говорила сбивчиво, как будто ей не хватало воздуха. Из этих разговоров выходило, что она живет дай бог всякому, гарнитур спальный собирается исправить, летом с Данечкой к морю поедет. Перед тем как Даньке уехать в лагерь, она сказала на кухне:

— Порушился отпуск. Купила ему путевки в лагерь на две смены. Шестьдесят рублей выкинула.

Вечером, когда Данька пришел к Симе «на телевизор», она сказала ему:

— Бесплатные путевки. Я твою мать раскусила. Один замок вешает — богатство стережет, другой — бедность прикрывает.

— Мы не бедные, — Даньку ранили ее слова.

— Какие же?

— Средние.

— Ну, пусть средние, — согласилась Сима. — Только зря она и на себя замок повесила.

Первые дни в лагере Данька вспоминал свою квартиру. Он был в самом младшем, октябрятском отряде, вместо вожатых у них было две воспитательницы. Одна из них все время придиралась к нему:

— Данила Еремеев, почему у тебя отсутствующий вид?

Он не понимал, о чем она спрашивает. Вид у него был обычный... Он любил думать. Живет ли в этом лагере кто-нибудь зимой? Можно ли выдрессировать бабочку?

В родительский день к нему прпехала Сима. Она сказала, что мать его уехала в деревню, Бронислава тоже куда-то умотала, Витьку она прогнала, и теперь она, Сима, как птица. «Душа свободная, а вообще работаю, Данечка, как лошадь. Домой набираю, стучу до полночи. Решила магнитофон купить. Одобряешь?»

Они пошли в лес. Сима пела песни, захватывала рукой ствол дерева и кружилась вокруг него.

— Ты хоть соображаешь, какая тут красота? — говорила она Даньке. — Ты дыши, в городе этого не будет.

— Я дышу. — Он хотел спросить, за что она прогнала Витю, но не спрашивал. Сима на такой вопрос не ответит. Надо ждать, когда скажет сама.

Она сказала, когда они расставались у лагерных ворот:

— Не жалею я о Витьке. Подлец он. Из таких, что на дурничку стараются проехать. У меня теперь настоящий жених есть.

— У Вити руки золотые, — подумав, сказал Данька, — пробки как тогда исправил. Свет — чик и загорелся. И ванну поставил с кранами.

— Данечка ты мой. — Сима прослезилась, прижала его к себе и чмокнула в щеку. — Витька хороший, а вот я дура. Ну и пусть. Еще вспомнит, пожалеет...

Он долго думал: какой у Симы жених? Представлял его в черном костюме, с плащом, перекинутым через плечо. А потом вдруг, сразу в какой-то час, забыл свою квартиру — и Симу, и Витю. Даже когда ехал в город с портфелем на коленях, не думал о доме.

— А ты подрос и окреп, — сказала Бронислава Федоровна, накладывая ему в тарелку второе, — что-то в твоём лице появилось новое.

— Я загорел, — ответил Данька, — а один у нас так загорел, что весь облез и остался в пятнах.

Он придвинул тарелку, поблагодарил и сообщил еще одну новость:

— А ко мне Сима приезжала.

Бронислава поджала губы и стала смотреть в сторону. Она всегда так делала, если ей что-нибудь не нравилось.

— Я с тобой хочу поговорить серьезно, Даня.— Бронислава Федоровна сняла очки, и Данька впервые увидел, какое у нее лицо. Глаза оказались кругленькие, как у мышки, возле губ пучки усиков и под ухом светлая бородавка.

— Нехорошо, когда мальчик вникает в дела взрослых. У мальчиков должны быть свои друзья. А ты привязался к Симе. Это плохо, это ничего, кроме плохого, тебе не даст...

Она говорила скучно. Данька смотрел на бородавку. Если перевязать ее ниточкой и поносить восемь дней, она отпадет. Один мальчишка в лагере рассказывал, что у него на носу была бородавка, он перевязал ниточкой, поносил восемь дней, и она отвалилась.

Бронислава Федоровна замолкла, надела очки и стала смотреть на него, ожидая ответа. Данька стал соображать: разговор она вела о Симе. Разговор был плохой. Симу она не любит. Теперь у Симы жених.

— Этот жених на дурничку не собирается проехать?— Данька из всех сил старался поддержать разговор.

— Что ты сказал?

— Если подлец, то постарается на дурничку.

— Какой-то кошмар.— Бронислава покраснела и стала смотреть в сторону.— Эта девица уже сделала свое дело.

Данька дождался Симу во дворе. Час назад он впервые увидел лицо Брониславы Федоровны. Какая Сима, он не знал. Не знал, что она толстая, что каштановая коса, которую она укладывает венком на голове, чужая. Он не умел еще увязывать в одно целое — косу, висевшую по утрам на гвозде, с Симиной прической, нейлоновую Симинову блузку — со стуком машинки по ночам. Когда они выходили на улицу, Сима спрашивала: «Швы на месте?» Данька отставал, глядел на круглые Симины икры и отвечал: «На месте». У витрины кондитерской она однажды сказала:

— Пошло оно все к чертям собачьим.— Вошла в магазин и на пять рублей накупила пирожных и конфет.

Потом в сквере они опустошали кульки, пока в горло и на душе не стало горько. Сима долго вспоминала: «Другой за пятерку удавится, а я возьму и куплю, что хочу. Правда, Данька?»

Он не знал, что она его любит. Они часто ссорились. Симе для ссоры хватало пустяка. Стогло Даньке хмыкнуть или в чем-нибудь усомниться, как Сима взрывалась. «С тобой откровенно, а ты, как кот, пригрелся и добра не чуешь». Отходила она еще быстрее. Данька направлялся к двери, она говорила ему вслед:

— Ой, Данька, дурная моя голова. Такого человека обидеть, лучше и на свете не жить.

Данька всякий раз замирал, слыша эти слова: «Такой человек!» Ему бы хватило просто человека. Никто, кроме Симы, не говорил ему этого.

...Сима вошла во двор с двумя сетками, набитыми молодой картошкой.

— Данечка! — Она разжала пальцы, и сетки грохнулись об асфальт. Он подошел к ней и, чтобы она не вздумала его посреди двора целовать, принялся подбирать картошку.

Потом они сидели у нее в комнате. Сима наварила картошки, почистила селедку.

— Вот уже в третий класс пойдешь, пионером станешь, — говорила Сима, — мать тебе форму новую купила. Говорит, к родне ездила отдыхать. Я в квартире, когда одна жила, много про нее думала. Что это она все себя чуть не богачкой ставит? Гордая потому что. Жалко таких гордых, и неплохо это, Данечка. Беда-лиходейка людей разламывает. А уж если человек гордым из-за нее делается — это человек.

Данька у Симы все понимал. И сейчас понимал. Мать хорошая, гордая.

Женхх явился через день.

— Даня, — шепнула ему на кухне Сима, — минут через пять зайди.

Он зашел. Мужчина в сером костюме сидел за столом. Был он уже староватым, но держался как молодой.

— Вот, познакомьтесь, — сказала Сима, — это Даня.

Мужчина протянул руку, потряс Данькину ладошку и сказал свою фамлию.

— Павкратьев.

— Прямо как министры представляетесь друг другу, — засмеялась Сима, когда Данька в ответ тоже назвал фамилию.

Она усадила Даньку за стол, жених проворно сбежал в прихожую и вернулся с бутылкой вина. Сима подняла брови и сказала чужим голосом:

— Я уже вам говорила, Семен Петрович, это не обязательно.

Мужчина с бутылкой направился опять в прихожую. Сима подмигнула Даньке:

— Противный, да?

Даньке стало весело. На столе было много еды. Ломтики буженины, семга, посреди возвышалось блюдо с пирожными. Блюдо и тяжелые зеленоватые вилки были Брониславы Федоровны.

Когда гость ушел, Сима спросила:

— Ну, как?

Данька молчал.

— Он инженер, Данечка. И холостой. С таким надо по-умному. Вино притащил, а мы ему — «не обязательно». Не свадьба ведь, правда? Рано вино распивать. И еще я тебе скажу, Данечка, любое дело вином губится.

— Ты поженишься?

Сима подняла брови:

— Кто знает... Давай на картах кинем.

Карты говорили разное. Сима никак не могла решить, какой масти жених — бубновой или червонной. Гадала на двух сразу. Одному падала крестовая дама, другому — казенный дом.

— Крестовая — не я. Казенный дом — это тюрьма. Проходимец он какой-то, Данечка...

— Давай его больше не пустим, — предложил Данька. — Будет звонить, а мы не отзовемся.

Сима смеялась:

— Умора ты, Данька. Кто же картам верит.

Она больше не звала его, когда приходил жених. Данька заходил позже, ел буженину, пил чай с вареньем и никак не мог понять, почему Сима злится.

— Я так в трубу вылечу, — однажды сказала она, — придет, поест, поразговаривает... я этот ресторан прикрою.

Она отдала Брониславе блюдо и вилки. Вечером поила жениха чаем с печеньем «Квартет». На следующий раз

он пришел с билетами в кино. Сима вернулась веселая, утром сказала Даньке:

— С таким человеком не стыдно хоть где. В кино пришли — все смотрят. Кажется, я в него влюбилась.

Влюбилась она в него позже, когда он перестал приходить. Сима ходила по квартире угрюмая, вздыхала, на Данькины робкие взгляды отвечала вопросом:

— Чего уставился?

Данька понимал, что она переживает из-за жениха, и не знал, как ей помочь.

Вечером, разбирая в коридоре старые журналы, он вдруг услышал Симин голос, доносившийся из кухни.

— Обидно, тетя Броня, до того обидно, что голову себе об стену разбила бы.

Обычно Бронислава Федоровна не отзывалась на «тетю Броню», но тут словно не заметила.

— Я все понимаю, Серафима, — сказала она, — очень хорошо понимаю.

— Прямо страшно делается: ну, поссорились бы или еще что, а то ведь как в воду канул. Стыдно людям в глаза глядеть, Данька и тот понимает.

— Мальчика вы зря посвящаете. Я вам давно это хотела сказать. Нельзя калечить душу ребенка.

— Я калечу? — В голосе Симы был испуг. — Как можно, если любишь, да покалечить?

— Вы мало читаете, Серафима, и передачи не слушаете: тот, кто ребенка очень любит, как раз и калечит.

Сима помолчала, а потом сказала со злостью:

— Брехня. От любви плохого не бывает.

— Ребенок не должен вникать в жизнь взрослых, — стояла на своем Бронислава.

— А во что он такое вникает? Что я воровка или какая злодья? Ну, замуж собралась, жениха завлекала, на бобах осталась, так это ж мое горе, а не его. А если что понимает — ему и польза, нечего пустоглазым расти.

Утром Данька зашел к Симе. Она сидела у зеркала и укладывала косу на голове. Данька стал у нее за спиной:

— Может, он заболел или уехал?

Сима повернулась, сморщила лоб.

— И ты мне душу рвешь? Знаешь что, — она положила ему руку на плечо, — не вникай ты в мои дела, не детское это дело.

— Это тебя Бронислава научила. — Данька дернул

плечом, Сима сняла руку. Он пошел, у двери остановился, подождал, но Сима больше ничего не сказала.

Во дворе у клумбы стояли девчонки. Увидели Даньку, спросили, есть ли у него деньги. У него не было. У девчонки было восемь копеек. Еще бы три — и порция мороженого. И тут одна сказала:

— Дядя Витя, вы откуда взялись? Одолжите три копейки.

Данька вздрогнул. Витя стоял возле него в белой рубашке, в пиджаке, наброшенном на одно плечо. На лацкане горел круглый золотого цвета значок.

— Здравствуй, Пифагор,— сказал Витя.— Давно тебя не видел.

Девчонки смотрели на Витю. Он засунул руку в карман, позвенел и достал несколько монеток.

— Не имей сто рублей, а имей сто друзей.— Отдал деньги девчонкам. Те не уходили.

— Ну? — спросил Витя, и они побежали. Данька остался.

— Пойдем сядем,— сказал Витя и пошел по дорожке. Положил локти на спинку скамейки, выставил вперед голову.

— Так говоришь, Сима замуж собралась?

Данька сжался. Ничего такого он не говорил.

— Рассказывай, чего сопишь?

— Не знаю я,— буркнул Данька и тронул пальцем значок,— наш?

— Наш. Был мой — станет твой.

— Советский или американский?

— А фиг его знает. Одна краля подарила. Бери, говорит, милый, носи и помни. А ты что, американские собираешь?

— Ничего я не собираю.— Даньке захотелось уйти. Витя повернул к нему голову:

— Ну?

— Откуда я чего знаю. Спрашивай у нее.

— Птичка божья,— Витя небольно толкнул его ладонью в грудь.— Так-таки ничего и не знаешь? И рожа кислая. Никак жених-то вас бросил?

Данька молчал.

— Или, может, сам жениться надумал? А? Под ручку — и в загс?

Данька поднялся.

— Дурак ты, Витя.

Тот схватил его за руку.

— Ну, ладно, не сердись. Я, знаешь, где был? Дом построили, а комиссия не принимает. Что-то у них там льется, что-то не закручивается... Фельетон! Это недалеко, новый городок такой, может, слышал?

Данька слушал и смотрел на значок. Витя, поймав взгляд, стал его отстегивать. Данька замотал головой:

— Не надо. Все равно потеряю.

— Ну и теряй. Такого барахла у меня навалом.

Витя умолк, откинулся на спинку скамейки и сказал, не глядя на Даньку:

— А ты штучка... Глазами хлопаешь, а что-то понимаешь.— Он поднялся, набросил пиджак на второе плечо.

— Передай своей Симе, что старый друг лучше новых двух.

Данька решил, что передавать не будет. Витина фраза ему понравилась, но растолковал он ее так: «Старый друг — это Витя, а новых два — он и жених».

Вечером мать сказала:

— Завтра в школу, а ты посмотри на себя.

Она вручила ему кусок нового мыла в обертке, потом белье и полотенце. Пошла в ванную, открутила краны с водой.

— Закройся на крючок.

Данька накинул крючок, присел на край ванны и стал считать земляничные ягодки на мыле. Потом закрыл краны, разделся и бултыхнулся в воду. Лежал в воде и вспоминал, как они с Симой ели в сквере конфеты и пирожные. Мать постучала.

— Мойся.

Он захлюпал водой, стал намыливать мочалку.

Когда он в трусах и майке, с каплями пота под глазами вышел в коридор, мать сказала:

— Пойду и я за одним разом помоюсь.

Данька подошел к Симиной двери. Было тихо. Или спит, или еще не приходила. Вчера и позавчера в это время у нее стучала машинка. Данька дернул дверь, она открылась. За столом, друг против друга, сидели Сима и Витя. Оба посмотрели на Даньку, Витя спросил:

— Что новенького в жизни, Пифагор?

Данька не ответил, они виделись сегодня днем, и Витин вопрос был просто так. Он не знал, хорошо это или

плохо, что Сима и Витя сидят вместе: только вдруг глыба тревог и забот, которую он таскал на плечах последние дни, отвалилась и разлетелась в прах. Он прикрыл за собой дверь и легкий, чистый, пахнувший земляничным мылом, вошел в свою комнату. На столе лежала стопка новых учебников, на веревке висел выстиранный мамой портфель. Редкие капли падали с него на пол. Данька вытер лужицу, подстелил под капли газету, сел за стол и стал думать, как он завтра в новой форме пойдет в школу.

Ерофеич и Данька

Мать уходила на работу рано. Оставляла на столе еду, прикрытую газетой, и записку. Всегда одну и ту же: «Не забудь закрыть дверь. Ключ положи туда же. После школы сиди дома и делай уроки». В записке было много ошибок. Даже не особенно грамотный Данька видел их. Мать всего боялась: грозы, воров, Данькиных двоек, начальства на работе. Когда в квартире перегорали пробки, она зажигала тонкую елочную свечку и спрашивала у сына: «Что будет теперь?» Кто-нибудь из соседей исправлял пробки, свет вспыхивал, но испуг и тревога не сразу сходили с ее лица.

— Ты мать свою должен воспитывать,— говорила Даньке на кухне соседка Симочка.— Ты ей книжки читай про явления природы и техники.

Данька хлопал густыми ресницами, пытаясь постичь смысл Симочкиных слов, и отвечал категорично:

— Не твое дело!

Симочка вмешивалась в Данькину жизнь. Когда у него было хорошее настроение, она занималась с ним по арифметике.

— Какой-то ты, извини меня, тупой ребенок,— вздыхала она,— это же такая простая задачка.

Данька не обижался. Он сам не считал Симочку умной. После того как она вышла замуж за слесаря Витю, Данька к ней охладел. У Вити была в этом же доме своя комната. Симочка говорила:

— Вот обменяем комнаты на квартиру, тогда и начнется у нас настоящая семейная жизнь.

Данька тосковал от этих разговоров и отвечал Симочке:

— Твой Витя может отколоть что угодно. Возьмет и бросит тебя.

Так говорила о Вите соседка Бронислава Федоровна.

— Не бросит,— вскипела Симочка,— он благородный. Он, если хочешь знать, любит меня.

— Ну и пусть,— пятился к дверям Данька,— пусть любит. А он все равно может отколоть и бросить.

Симочка недолго помнила обиды. Или Данька был не тем человеком, который мог ее обидеть. Плакала и обижалась Симочка только тогда, когда случайно цепляла новый чулок за табуретку на кухне. Тогда Данька жалел ее, и Бронислава Федоровна жалела.

— Если бы ваш новый муж, Серафима, был настоящим мужчиной, вы бы не рыдали над каким-то несчастным чулком.

— Какая язва,— говорила потом Симочка Даньке,— «ваш новый муж», а разве у меня был старый?

В школе Данька сидел на первой парте. На первых партах в их третьем классе сидели двоечники, самые маленькие и девочка в очках. У Даньки были большие права на первую парту: он был самым маленьким и двоечником. Учительница часто говорила ему:

— Даня, внимай.

Раньше она произносила длинные фразы: «Будь внимательным, старайся на уроке побольше запомнить, тогда быстрее подготовишь дома уроки».

«Даня, внимай» действовало на Даньку как взмах кнута, за которым не следует удара. Он хлопал длинными ресницами, глаза его становились ясными, но через несколько минут он опять погружался в свои думы. Думал Данька больше вопросами: «Где, интересно, учат на фокусников?», «Почему не горят мокрые спички?» Соседка его, единственная в классе девочка в очках, написала о нем заметку в школьную сатирическую газету «Крючок»: «В конце каждой контрольной у него, как жирафы, вытянули шеи двойки», «Он часто контрольные слизывает у меня», «Он может стать хорошим учеником, если не будет таким задумчивым и нервным, как коза».

Больше всего Даньку обидело сравнение с козой. После уроков он дождался соседку по парте у школьных ворот и плюнул ей на пальто. Девчонка положила в карман очки и шлепнула Даньку по голове портфелем. Конфликт на этом не закончился. Назавтра родители пришли в шко-

лу. Данька стоял перед директором, повесив голову, и молчал. Потом он сказал: «Извините меня, я больше не буду». Про то, что его стукнули портфелем по голове, он не вспомнил. Когда трое взрослых убеждают, что «плевать в прямом смысле на товарища — это подлость», тут уж не оправдаешься.

С Ерофеечем Данька познакомился весной. Мартовский снег осел, почернел, и третьеклассники отправлялись на поиски старого железа на задворки заводов и фабрик. В своих асфальтированных дворах с разнокалиберными строениями гаражей искать лом было все равно, что ходить в городской сквер по грибы. Но Данька ходил по дворам. Открывал люки баков с отбросами и доставал оттуда железные консервные банки. Бездомные кошки подбегали к нему, а однажды подошла напудренная дама с толстыми коленками под коротким платьем и спросила:

— Это вас в школе заставляют по помойкам рыскать?

— Никто не заставляет, — буркнул Данька.

— Понятно, — не унималась дама, — политехническое обучение. Без отрыва от учебы вы приобретаете специальность мусорщика.

Данька ответил:

— Эти банки пойдут на тракторы и другие машины. Сами на машинах ездите, и сами смеетесь.

Он не хотел ссориться, ему стыдно было, что застали его у этих баков. Но дама не унималась:

— Пусть бы ваши учителя рылись в этом дерьме. Им что, машины не нужны?

Этого уж Данька стерпеть не мог.

— Давай шагай отсюда! — сказал он и замахнулся банкой.

— Такой маленький — и такой хам! — возмутилась дама и ушла восвояси.

Мудрые мысли иногда приходят в минуты душевных потрясений. Пересекая двор, он вдруг понял, что вовсе не обязательно рыться в мусорных баках. Можно собирать банки прямо в квартирах.

Данька начал обход со своего дома. В четвертом подъезде на его звонок вышел маленький старичок с пышным облаком седых волос.

— Вы ко мне, молодой человек?

Данька растерялся. Старичок был какой-то пенастоящий. В новом ярко-синем спортивном свитере, в повязан-

ном, как у цыганок, через плечо суконном платке с бахромой. «Артист», — решил Данька и сказал:

— Я вас никогда не видел. Я живу в этом же доме.

— Невозможно видеть все, — ответил старичок.

Даньке так никто не отвечал.

— У вас банки есть? — спросил он.

— Банки консервные у меня забирает девочка Люся с третьего этажа.

— Люську я знаю, — сказал Данька и вздохнул. Уходить ему не хотелось. — Она у вас и макулатуру берет?

Он все-таки дотянул до того, что старичок сказал:

— Что же мы стоим, как будто наглядеться друг на друга не можем? Заходи.

Данька вошел в комнату. Сел в продавленное кресло и поднял с пола журнал. Журнал назывался «Здоровье». Точно такой выписывала соседка Бронислава Федоровна.

— Тебе сколько лет? — спросил Ерофенч.

— Десять.

— А мне скоро восемьдесят.

Данька понимающе чмокнул губами:

— Много.

— А ты как думал? Возраст, можно сказать, дряхлый.

— Все старыми становятся, — утешил его Данька. — Сначала молодые, потом старые.

Ерофенчу это понравилось.

— А ты, парень, мудрец. В десять лет, понимаешь, не всякий такой мудростью располагает.

Данька свободней уселся в кресле и стал ждать разговора. Что же им делать, как не говорить! Но старик молчал. Смотрел на Даньку и будто не видел его. Даньку это не смущало.

— Соседи у вас ничего, не скандальные?

Ерофенч встрепнулся, веселым взглядом окинул мальчика: «Откуда ты такой чудик?» — и ответил:

— Наоборот. Почтенные и достойные всяких похвал люди. — Данька замолчал. Теперь была очередь Ерофеича задавать вопрос.

Он спросил:

— Отец у тебя есть?

Это был тот самый вопрос, который заставлял Даньку ежиться. Кто его знает, есть или нет. У матери Данька об этом никогда не спрашивал. Понимал: не надо. Ерофенчу ответил скороговоркой, опустив глаза:

— Отец у меня уехал. Давно.

И вздрогнул от слова, которое услышал.

— Извини.

Даньку как током пронизало это слово. Считает ли старик позором, что у него нет отца?

— Мы с матерью вдвоем живем. У нас комната маленькая. Две кровати, стол, шкаф и еще такой шкафчик для посуды.

Он оправдывался: даже если бы был отец, куда его денешь в такой маленькой комнате?

Ерофеич пошел на кухню и принес оттуда коробку с печеньем и бутылку минеральной воды.

— У тебя отца нет. У меня отца нет. Что же нам, казанским сиротам, делать?

Он чокнулся граненым стаканом и насыпал Даньке в блюдо печенья.

— Ты никогда не задумывался, мудрец, что такое человек?

Данька пожал плечами: мол, не приходилось.

— Вот ты не думал, почему у человека на лице нос, а не какой-нибудь, допустим, пушистый хвост?

— Хвост бы мешал. Шерсть в ноздри лезла бы.

— Совершенно верно. Пойдем дальше. А зачем человеку две ноздри? Вполне бы хватило одной. А вот третий глаз в затылке — это было бы кстати. Или ты считаешь, что этот глаз ничего бы не видел под шапкой?

Выпили вторую бутылку нарзана, потом включили телевизор. Голубой экран погудел, и на нем появилась женщина в кружевной блузке. «...А теперь, ребята, сложим лист пополам и наметим контуры фонарика». Данька собирался домой.

— Пойду. Там уже мама дома.

— Приходи, — сказал Ерофеич, — и передай маме привет.

Весну Данька заметил тогда, когда на голых ветках тополя во дворе появились грачи. Две большие черные птицы каждое утро устраивали галдеж возле старого, растрепанного зимними ветрами гнезда. Данька смотрел на них из окна и гадал, которая из птиц муж, которая жена. Наверное, жена не соглашается жить в старом доме и

пилит своего грача, чтобы построил новый. Интересно, как птицы относятся к людям, что они о них думают?

Девчонки в их дворе только Даньку припимали играть в классы. Он серьезно относился к этой игре: свесив голову на тонкой шее, сосредоточенно прыгал на одной ноге и вздыхал, когда битка ложилась на черту. С ним было удобно играть. Он не следил ревнивым оком за чужой игрой. Дожидаясь очереди, смотрел на старый тополь или в ту сторону, где был подъезд Ерофеича.

В школе учительница сказала: «Сегодня вы, ребята, будете писать первое свое сочинение». Вывела на доске заголовок «Весна пришла» и стала объяснять, что нужно написать. «Не забудьте сказать о том, что этой весной вас примут в пионеры». Данькина соседка поставила учебник посреди парты — так она всегда отгораживалась от него на контрольных — и стала писать. Данька вытянул шею, поглядел первую строчку: «Весной пробуждается вся природа». Откуда очкастая берет такие слова? Данька так не мог. «После зимы всегда приходит весна», — написал он и задумался. Почему всегда приходит весна? Взяла бы один раз и не пришла. И тут же привиделись грачи. Сидят на холодных голых ветках и молчат. Кричать хорошо, когда все понятно, когда не замерзнешь даже в старом, порушенном гнезде.

— Даня, внимай, — донеслось откуда-то издалека.

Вечером Ерофеич сказал Даньке:

— Вот ты ко мне ходишь, а сам в гости не зовешь.

Данька вспыхнул. Он не ждал этого вопроса. Как скажешь, что мать боится и Симочка тоже подозрительно относится к их дружбе? «Один старичок вот так же приваживал малолетних. И оказалось что? Секта».

— Приходите, — сказал Данька и опустил голову.

— Это я просто так сказал, Данька. Какой из меня ходок! Сам видишь.

Ерофеич разбирал старые бумаги, что-то выписывал. Данька рассматривал фотографии и делил их на две стороны: живых и тех, кого уже нет.

— А этот? — спрашивал он.

— Это Колька. Мы с ним в гражданскую в одном полку служили. Потом встречались изредка. Погиб в начале войны.

Заметив, чем занимается Данька, Ерофеич рассердился:

— Ты мне кладбище тут на столе не устраивай. Вместе все должны быть, смешай сейчас же.

Данька послушно смешал фотографии. Потом взял конверт, в котором хранились карточки женщины с высокими черными бровями, и стал раскладывать: молодая с косами на груди, постарше — косы веночком, потом подстриженная, в берете, сдвинутом набок. На последней карточке она стояла под пальмой, расплывшаяся, в светлом сарафане, и улыбалась. Внизу была подпись: «Привет из Крыма».

— Это твоя жена?

— Нет.

— Ты ее полюбил?

— Любил.

— И сейчас ее любишь или другого кого-нибудь?

Есть слова, которые дороже всего золота мира. Даже одно слово, Ерофенч его знал:

— Тебя.

Данька притих, он не знал, что говорят в ответ на такое слово.

Мать стирала, сидя на табуретке. Она всегда стирала сидя и в комнате. Данька ворвался в комнату, она повернула к нему маленькое белое лицо с двумя розовыми кругами румянца и сказала:

— Опять шлялся. Вынеси ведро.

Ведро с шапкой мыльной пены стояло у двери. Данька схватил мокрую дужку, накренился на левый бок и выпалил:

— Нас послезавтра — в пионеры!

Мать ничего не ответила, и Данька не стал ждать, что она скажет. В коридоре, размахивая пустым ведром, он сказал Симочке:

— Послезавтра в Доме культуры будут принимать в пионеры.

— Подумать только, — удивилась Симочка, — ты станешь пионером! Ты рад?

— Я рад, — сказал Данька. — У нас в классе двоих отложили. Недостойны.

Он не сказал, что сам висел на волоске, что только благодаря очкастой соседке все проголосовали «за». Соседка произнесла прочувствованную речь: «Все недостат-

ки Дани от рассеянности. Он старается, но рассеянность уводит его в сторону. Я заверяю, что Даниа исправится».

Мать стирала. Был теплый, влажный апрельский вечер. Данька тихонько вышел во двор. Сел на скамейку, прислушался. Окно Ерофенча желтело невнятным светом — в глубине комнаты горела настольная лампа. Данька не решился беспокоить его в этот вечерний час. Зашел утром, перед уроками. Постучался, сказал у порога:

— Меня завтра в пионеры принимают. В Доме культуры.

— Поздравляю, — сказал Ерофенч, — поздравляю.

— Сказали, можно родителей приводить. Воскресенье завтра.

— Ты хочешь, чтобы я пошел?

В воскресенье мать надела на Даньку белую рубашку, сама причесала ему набок чубчик.

— Смотри там, води себя хорошо.

— Ладно, — ответил Данька, вышел в коридор, постучал в соседнюю дверь.

— Сима!

За дверью стучала машинка. Симочка не слышала, Данька распахнул дверь.

— Сима! Я пошел!

— Куда? — обернулась Симочка.

— В Дом культуры. В десять будут принимать.

Симочка подбежала к нему и чмокнула в щеку. Данька отмахнулся.

— Ладно тебе с нежностями.

Воскресное утро выдалось дождливым. Дождь шел мелкий, теплый, и молодая трава, пробившаяся через асфальт, весело подставляла ему свои стрелки. Ерофенч в валенках с галошами, под зонтиком медленно переступал по асфальту.

— Может, ты побежишь вперед? — советовался он с Данькой. — Плохой я ходок. Отходил уже, как видишь, свои дороги.

Данька не мог побежать вперед.

— Хоть кого сейчас в валенки с галошами обуй, не очень побежит.

Дом культуры виден был с начала их пути, но, ой, какой это был длинный путь!

— Посидим, — сказал Ерофенч, — передохнем минутку.

Они сели на мокрую скамейку у пивного ларька.

— Весной пробуждается вся природа,— сказал Данька.

— Тревожное время года,— сказал Ерофеич.— Ты волнуешься: в пионеры принимать будут. А я тревожусь, как бы земля этой весной не приняла к себе.

— Не падо об этом думать.

— Почему не надо? Думать обо всем надо.

В вестибюле Дома культуры гардеробщица, увидев на Даньке белую рубашку, сказала:

— Беги скорей, полчаса как началось, уже и оркестр пграл.

Данька запрыгал по ступенькам широкой лестницы, рванул дверь в зрительный зал и остановился, втянув голову в плечи, как будто попал под проливной дождь. Зал аплодировал усатому военному с Золотой Звездой Героя на груди. Военный стоял на краю сцены, а сзади него — третьеклассники в два ряда в красных галстуках. Данька вздрогнул, когда оркестр заиграл веселый марш. Вожатая Татьяна Ивановна вспрыгнула на сцену, пожала руку военному и сказала собравшимся в зале:

— Дорогие юные друзья! Сегодня в нашу пионерскую семью влилось два новых отряда...

— Что же нам делать, человек ты мой хороший? — услышал Данька голос Ерофеича.

Они стояли в конце прохода до конца торжественной части, а в перерыве пошли искать вожатую. Ерофеич разволновался, когда розовая от возбуждения Татьяна Ивановна остановилась возле них и, отыскивая кого-то глазами, произнесла:

— Только покороче, товарищ, у нас через десять минут шефский концерт.

— Я прошу... я, как коммунист с тысяча девятьсот девятнадцатого года, уполномочен вам заявить, что произошло ошибка. Верней, не ошибка, а... как вам сказать, опоздание. Вот этот юный гражданин опоздал по моей вине.

— Почему ты опоздал?

— Я же вам говорю, по моей вине. Проявите душевную чуткость — примите его в пионеры.

— Где? Сейчас? Здесь?

— Сейчас. Здесь.

— Вы шутите, товарищ. Есть утвержденный ритуал, и вы, как старый большевик, его обязаны знать.

— Я повяжу ему галстук своими руками.

— Если каждый начнет повязывать, представляете, что получится?

Данька дергал Ерофеича за пиджак. Незачем унижаться, когда ясно, что все пропало.

— Когда же его могут принять?

— В четверг мы рассмотрим этот вопрос на совете дружины.

— Очень жаль, что мы не поняли друг друга,— сказал Ерофеич,— подождем до четверга.

Через неделю они возвращались той же дорогой. Ерофеич шел, не отдыхая, лишь иногда опирался на Данькино плечо рукой.

— Ты упорный,— сказал Данька,— ты сй правду сказал, что коммунист?

— Про такое не врут.

— А ты заметил, что она тебя испугалась?

— Не заметил. Я сам перепугался.

— Меня во втором классе чуть на второй год не оставили. Всем в дневник написали, что перешел в третий класс, а мне нет. Думаешь, я заплакал?

Прошла неделя... Данька шел в распахнутом пальто, стоило только прикрыть глаза — и алый цвет нового галстука озарял дорогу. После дождя отмытый асфальт поблескивал в лучах солнца, и алый галстук казался частицей этой веселой апрельской улицы.

— У тебя сегодня большой день,— сказал Ерофеич,— ты помни его.

Данька кивнул.

— И меня помни, Данька. Не забывай.

— Нет,— остановился Данька,— не надо. Ты потерпи. Скоро все придумают, лекарства разные, операции. Люди будут жить тысячу лет. Это правда. Я давно хотел тебе сказать. Я не знал, что ты не знаешь,— Данька захлебывался.— Ерофеич! Ты должен подождать. Ты не знаешь, какая наука. Надо только дожидаться, дотерпеть.

— Раз уж ты так просишь,— сказал Ерофеич,— я дотерплю.

Данька взял его за руку. Навстречу шли люди. Глядели на них и думали: «Вот идут дед с внуком». И никто из них не догадался, что это шагают товарищи.

Мальчики

С той поры как соседка Сима привезла из родильного дома ребеночка, Данька стал жить во дворе. Появлялся в квартире редко, озираясь, открывал холодильник, хватал какую-нибудь еду и убегал с ней в дальний угол двора.

— Изросся,— говорила Сима,— еще год-два — и станет шпаной. Он у меня уже бутылки из-под кефира крадет.

— Когда нет материнского глаза,— поддакивала соседка Бронислава Федоровна,— они все во дворе постепенно превращаются в шпану.— Она вздыхала и смотрела на старые стенные часы в коридоре. Через день-другой ей предстояло покинуть эту квартиру навсегда. И теперь она, мучаясь, разглядывала часы, решала — увозить их с собой или оставить на добрую память.

Данька возвращался домой поздно. Толкал плечом дверь своей комнаты, хотя точно знал, что закрыто, шел на кухню, садился за стол напротив хмурого Вити и, чтобы подладиться к нему, тоже хмурился и опускал голову.

— Где мать твоя шляется? — спрашивал Витя.— И ключ не доверяет. Житуха у тебя хуже моей.

Данька еще ниже сгибал шею. Витя зря трогал мать. Однажды Данька сказал ему: «Не твое это дело». Витя вскипел: «Я с ним как с человеком откровенничаю, а он и в самом деле решил, что человек».

— Она теперь как ненормальная,— Витя кивнул на висевшие над головой пеленки, разговор пошел о Симе.— Сшила мне из марли намордник, чтобы я через него дышал. Это жизнь?

Намордник Даньку рассмешил, но он не стал смеяться, Витя сидел жалкий, в глазах мерцала тоска. Новорож-

денный лишил его привычной жизни, и Витино лицо от этого стало печальным и удивленным. Чтобы согнать это выражение, он хмурился, и Данька из сочувствия тоже хмурился и жалел в душе Витю.

Сима не замечала их страданий. Ходила по квартире, как лунатик, и если натыкалась на Даньку или Витю, то тут же жалила упреками. Не верилось, что это та самая Сима, которая прошлой зимой с визгом носилась на катке, обгоняя мальчишек, и однажды там же, на катке, подралась с восьмиклассником из Данькиной школы. Теперь Сима была другая — под глазами голубые круги, рот скорбным сердечком. Откроет рот — и пошло, поехало: «Глаза бы мои вас не видели. Охламоны. Бездари». Витя от ее слов дергался, как от ударов, Данька пытался найти выход.

— Ты, Сима, отдай его в ясли.

Сима замирала от негодования, теряла дар речи и уходила в комнату. Там посреди тахты, на подушке, лежал ее спеленатый младенец. Что-то у него было неладно с глазами: если не спал, то рассматривал потолок попеременно сначала одним, потом другим глазом. Сима возле младенца мигом менялась, нежно глядела на него и становилась еще одной Симой, не похожей на ту, что только что была на кухне. В те дни, когда Даньке еще разрешалось входить к младенцу, эта третья Сима рассказывала разные чудеса, которые ждут ее сына в будущем.

— Все, Данечка, зависит от любви. Человек с первого дня должен расти в любви. Тогда он и сам будет, как цветок.

Данька смотрел на подушку и думал о том, что спеленатый младенец похож на огромный забинтованный палец. Любить этот палец может только Сима. Все остальные этого не могут. А значит, не будет он, как цветок, а будет, как все.

Витя зажег газ, поставил чайник. Они пили чай, поглядывали на старые часы в коридоре, вздыхали и были друг другу в тот поздний час в тягость.

— Я твою мать припугну, — говорил Витя, — скажу, что общественность интересуется твоей собачьей жизнью.

Данька стиснул зубы. Витя опять трогал мать.

— Ты хоть имеешь представление, где она шляется? — допрашивал Витя.

— Имею,— Данька озлобился. Стал быстро соображать, как бы перевести разговор на другое.— Бронислава говорит, что ее комнату еще вам могут и не дать.

— Это уже в шляпе,— Витя высокомерно откинул голову,— у нас грудной ребенок, и я же свою им отдал в третьем подъезде.

На кухне появилась Сима. Витя поднялся, робко спросил:

— Спит?

Сима не удостоила его ответом, собрала чашки на столе, сложила их в раковину. Сказала Даньке:

— Я тебя тоже раскусила. Боишься дома нас покажать. Ладно, обойдусь без вашей помощи. Только, когда прижмет, не бегите ко мне: «Сима! Сима!» Нету для вас больше СИМЫ.— Помолчала и добавила: — Все вы — подлецы.

Витя дернул головой.

— Все подлецы, одна ты ангел. Данька, слышал, как она утром орала: «Лишу отцовских прав!» Просто смех — какие права?

— Бедняжка! — Сима сощурила глаза, хотела изобразить презрение, но неожиданно в них заблестали слезы.— Я с ног валяюсь, у меня все болит от усталости, если б не ребенок, ни одной бы минуты не жила на свете...

Она рухнула руками и лицом на стол и заплакала. И, словно откликаясь на беду, в комнате властно и визгливо заплакал младенец. Витя ринулся в комнату.

— За что? — подняла мокрое лицо Сима.— За что мне такие муки? Нет, ты мне скажи — за что?

Перепуганный Данька не понимал, о чем она спрашивает. Ребенок визжал. Данька ждал, когда Сима бросится вслед за Витей, но она решительно смотрела в темное окно, и лицо ее не обещало ничего хорошего.

Неожиданно на Симином лице появилась улыбка. Это было так неожиданно и страшно, что Данька задержал дыхание и отступил назад. Сима поднялась, вышла в коридор, сняла с вешалки плащ, и Данька услышал, как за ней хлопнула входная дверь.

Ко многому он привык в своей квартире. Ко многому в жизни относился без страха и почтения. Но то, что Сима среди ночи с улыбкой на заплаканном лице ушла куда-то, было страшно.

— Она ушла,— сказал Данька, заглядывая в комнату.

Витя бегал вокруг стола, прижимая к груди орущего младенца, и не слышал его.

— Она ушла! — крикнул Данька. Витя остановился, услышал, что сказал ему Данька, и опустился на стул.

Страх постепенно отпустил Даньку.

— Надо развязать его, — сказал он, кивая на младенца, — надо его развязать, тогда он замолчит.

Витя положил сына на подушку, дрожащими руками развязал поясок, размотал пеленки. На этот раз младенец таращил на свет оба глаза, они были сухие, без слез, только беззубый рот раздирался от плача, да вздрагивал маленький, дынькой, живот.

Они трясли над его носом погремушкой, уговаривали замолчать, но дитя, словно в чем-то обвиняя их, надрывалось от крика, и Данька с Витей готовы были плакать и кричать вместе с ним от бессилия и ужаса.

Проснулась соседка Бронислава, вошла в комнату, стала рядом с ними, придерживая на груди полы халата. Витя и Данька с надеждой глянули на нее, но Бронислава тоже не знала, каким образом можно унять младенца. Это знала Сима. Но Симы не было.

— Куда она ушла? — спросил Данька.

— У нее еще днем был странный взор, — сказала Бронислава, — какое-то опрокинутое лицо и странный взор.

Витя затравленно посмотрел на Брониславу, сел на стул и повесил голову. Данька понял, что Вите сейчас хуже всех. Если с Симой что-нибудь случится, то младенец будет только Витиным.

Они вскинули головы и прислушались: в коридоре слышались шаги.

— Сима... — тихо позвал Витя.

Дверь открыла Данькина мать. Оглядела всех, подошла к кровати и стала молча гладить по животу младенца. Рука была маленькая, сухая, со сбитыми неровными погтями. Данька с интересом глядел на руку и не заметил, как замолчал младенец. Отвалил голову набок и затих. Мать вытянула ему ноги, спеленала, приказала Вите принести из кухни бутылку с кипяченой водой. Младенец схватил соску, натянутую на бутылку, зачмокал и даже улыбнулся краем рта.

Вите, конечно, надо было бы сказать матери что-нибудь хорошее, но он только жалобно посмотрел ей вслед.

Ненадежна была его ночь: в любую минуту младенец мог взорваться новым криком.

Расстилая постель, мать ворчала:

— Родют ребятенка и думают, что весь свет осчастливили. А ребяенок никого не касается. Ты родил, ты за ним и беспокойся. Я родила — мне никто ничего. Я ребятенка на руки — и в магазин. Еще как там настыдят: «Специально ребятенка взяла, чтоб без очереди». А тут и мужи, и соседки, все обязаны.

Данька уснул под ее бормотанье, не понимая, что ребяенок, которого она вспоминала, — это он. Утром сказал:

— Ты мне ключ оставляй или приходи пораньше.

Мать домывала пол, бросила тряпку, подняла на него маленькое, в розовых пятнах лицо:

— Два ключа потерял и последний туда же денешь.

— Витя может ключ сделать. Ты ему дай — он к вечеру сделает.

Мать недобро улыбулась.

— Витя наделает ключей. Всем жуликам по ключу и тебе, дурачку, ключик.

Мать домывала пол, а Данька терпеливо ждал, когда она уйдет и можно будет убежать во двор. Потом вспомнил ночной переполох и стал думать о младенце. Если Сима никогда не вернется, то Вите не позавидуешь. Младенца надо купать и кормить грудью. Конечно, он будет постепенно расти, все люди сначала бывают такими. Но не верилось, что именно этот младенец будет когда-нибудь ходить и разговаривать.

— Три дня потерпи, — сказала мать, — путевку дали, в лагерь поедешь.

Данька тут же перестал думать про младенца, а стал представлять себя в лагере. Как он приезжает туда и вдруг видит, что на скамейке под сосной спиной к нему сидит Толик из города Брянска, с которым он дружил в лагере прошлым летом. Сидит и ничего не подозревает. Данька тихонько подкрадывается, сжимает ему ладонями глаза. «Кто?» — вырывается Толик. Данька молчит и не отпускает. «Ох, и врежу!» — злится Толик. Данька еще крепче сжимает ему глаза и хриплым, не своим голосом говорит: «Попробуй, врежь». Толик вдруг изворачивается, дает подножку, и они валятся на траву. Толик спальный, ловкий, еще секунда, и он врежет так, что не обрадуешь-

ся. Данька поворачивает к нему лицо и спрашивает: «Своих, да?» И тут неожиданно для себя кладет Толика на обе лопатки. «Жизнь или смерть?»

— Что ты ерзашь? — врывается в его мечты мать. — Проснулся, так вставай.

Она опять уносит с собой ключ. Данька остается в комнате. Ест картошку с красными помидорами, которые горкой лежат на столе. Не спешит. Из комнаты можно выйти один раз. Защелкнется за спиной замок — и все, до позднего вечера.

На кухне сидит Сима и кормит грудью ребенка. Данька хочет проскользнуть незамеченным, но Сима властно глядит на него и манит пальцем. Шепчет:

— Сейчас он уснет, и ты все мне расскажешь.

Она уносит спящего младенца в комнату и возвращается:

— Очень плакал?

— Очень, — говорит Данька. — Брониславу разбудил. Потом мама пришла, дала воды, он и заткнулся.

— Заткнулся, — обижается Сима. — Бутылки кефирные больше не смей брать, я их считаю.

Бутылки сдает Витя. Данька не может этого сказать Симе, и ему противно от этого и больно, хочется скорей выскочить на улицу и забыть про все.

— Что Витя говорил?

Данька, насупившись, смотрит в пол.

— Ничего не говорил. Он же орал. А ты куда делась?

Сима сузила глаза, мстительно улыбнулась.

— Я у подружки ночевала. Только ты Витьке об этом ни слова. Я его перевоспитаю, не сомневайся.

Данька поднимается, но Симе не хочется его отпускать.

— Одичал ты, — говорит она, — и некрасивый стал. Красота у детей бывает от воспитания. Который ухожен, тот и красивый. А ты запустился, как беспризорник.

Данька терпит: когда-нибудь же она замолчит и отпустит его. Но Сима не собирается замолкать.

— Прибегаю я вчера к Надьке, а у той чуть глаза не выпали от удивления. «Что случилось?» А я молчу. Тогда она говорит: «Ой, Симка, какие у тебя сейчас глаза — острые, жадные, как у человека, которого выпустили из тюрьмы». А я и в самом деле как из тюрьмы. А потом, как легла спать, так в первый раз и выспалась.

Появляется соседка Бронислава. Здоровается. Каждый день она ждет команды переезжать на новую квартиру, и это ожидание выключило ее из реальной жизни. Она ставит на плиту чайник и ни о чем не спрашивает Симу. Потом наливает чай в кружку. Чашки и блюда давно упакованы. Бронислава вторую неделю пьет чай из кружки и глядит на всех прозрачными, ничего не видящими глазами. Она очень горда, что получает отдельную квартиру, и теперь вроде бы даже презирает Симу и Даньку, которые остаются в коммуналке. Это ее словечко — «коммуналка». До того как Брониславе дали ордер, Данька такого слова не слышала.

На улице лето. Двор сверкает в солнечных лучах. Сверкают выстиранные простыни на перечеркнувших двор веревках. Сверкают цветы на клумбах. Данька с крыльца озирает это сверкающее царство и замирает от предчувствия счастья, которое вот-вот обрушится на него. Надо только сделать верный шаг, не разминуться. Он прислушивается, и сердце его вдруг начинает стучать гулко и нетерпеливо, а ноги несут мимо клумб, колысок и белой стены простынь в самую даль двора. Туда, где ровной линией вытянулись разнокалиберные домики гаражей.

У раскрытых настежь дверей кирпичного гаража над мотоциклом склонился Кеша. Черные кожаные в обтяжку штаны схвачены на талии красным широким ремнем, черная «водолазка» с засученными рукавами вырисовывает Кешины мускулы на спине и плечах. В таком наряде Кеше надо плясать на сцене кубинский танец или стоять в центре города у почтамта с сигаретой в углу рта и провозжать равнодушным взглядом прохожих. Но Кеша не из этого десятка. Он студент авиационного института, альпинист и горнолыжник. В гараже у него рядом с отцовской «Волгой» хранятся редкостные сокровища — ружья для подводной охоты, спальные мешки и даже голубая надувная лодка. Летом Кеша укладывает сокровища в коляску мотоцикла и покидает двор. Потом появляется на короткое время — стучит в гараже молотком, тарахтит мотором, что-то клент, чинит и снова уезжает.

Во дворе на Кешу смотрят как на залетную птицу. Никто о нем ничего не знает. Старухи на лавочках обсуждают его отца и молодую матеку. «На такую квартиру и «Волгу» мог бы себе и получше взять». Большие девчон-

ки, когда Кеша появляется во дворе, не глядят в его сторону, а когда он проходит рядом, замолкают, и у каждой лицо делается обиженное и высокомерное.

Данька останавливается у гаража, глядит на Кешины загорелые руки, и предчувствие счастья переходит в уверенность: сейчас это случится. Кеша поднимает на него смуглое, очень красивое лицо, в его синих, пронзительно-ярких глазах загорается радость, такая же, какой переполнен Данька.

— Хочешь прокатиться?

У Даньки нет сил ответить: да. Он кивает и опускает стыдливо голову.

— Погуляй минут десять. Не люблю, когда глядят под руку. Поедем на озеро.

Данька смиренно отходит от гаража. Стоит за кустом сирени и ждет, когда пройдут десять минут. Сердце уже не стучит, оно плавает в невесомости.

Ах, как они мчались! Земля гудела, и деревья поворачивались на своих стволах, чтобы разглядеть, кто это так мчится.

— Не страшно? — пробивая голосом ветер, спрашивал Кеша.

— Не-е-е! — кричал в ответ Данька. Он сидел в коляске, вцепившись в железный поручень, и что-то новое входило в его существо. Если бы он мог объяснить это словами, они бы звучали так: «Я жил и не понимал, кто я такой. Но вот хлебнул скорости и ветра, и в моей душе родилась отвага. Я понял, что рожден на этой земле мальчиком».

Они обгоняли автобусы, самосвалы и все легковые машины.

— Живой?! — поворачивал голову Кеша.

— Живой! — кричал Данька, сообщая об этом всему свету.

На развилке, где стоял ларек «Пиво-воды», Кеша остановился.

— Передохнем.

Слез с мотоцикла, снял кожаные рукавицы и вытащил из коляски Даньку.

— Разомнись. Если падо куда — сбегай, — он показал рукой на мустарник.

Данька зарделся и ответил: не падо. У ларька была очередь. Кеша встал в хвосте, Данька подошел к нему.

Они стояли рядом, как матросы, сопедшие на берег. Оглядывали незнакомую землю, давали местным жителям полюбоваться собой.

Все испортила тетка из очереди. Прижимая обеими руками бидон к груди, она набросилась на Кешу:

— Ты что же, стилига безголовый, делаешь? Своей головы не жалко — мальчонку бы пожалел. Нарезутся напитков, а потом гробятся, пьяницы проклятые.

Данька сжался. Все, кто стоял в очереди, повернули головы и смотрели на Кешу. Сейчас Кеша ответит, и тогда они все набросятся на него. Кеша ответил:

— Тут написано «Пиво-воды», так нам как раз пужно то, что «воды».

Тетка подозрительно прищурила глаз и усмехнулась.

— Тут сроду никаких «вод» не было.

— Понятно, — грустно сказал Кеша, — тут пиво, а «воды» только на вывеске. Кто же это знал...

Кеша не огорчился, спокойным шагом пошел от ларька к дороге. Данька увидел, как тетка с бидоном растерянно повела глазами. Теперь очередь глядела на нее, и тетке от этого было досадно и противно.

На озере было пустынно. У берега торчал нос погруженной в воду лодки, трава росла клочками на белом сыпучем песке.

— Тут хорошо, — сказал Кеша. — Плавать умеешь?

Выкидывая крепкие руки, Кеша поплыл быстро вперед, оказался посреди озера и там лежал на спине, положив затылок на ладони. Данька боялся заплывать, то и дело щупал большим пальцем ноги дно и, если его не было, возвращался обратно к берегу. Потом они плавали рядом, ныряли по очереди. От нырянья Кешины глаза потеряли свой ярко-синий цвет, стали мутно-серыми.

— Тебе сколько лет? — спросил Кеша, когда они вытянулись на теплом белом песке.

— Одиннадцать.

— Не страшно?

Данька не понял.

— Я, когда такой был, всего боялся, — объяснил Кеша, — собак боялся, мальчишек старших. А больше всех отца.

— Бил? — спросил Данька. Доверие рождает смелость. Кешу можно было спрашивать о чем угодно.

— Да нет, не бил...
— И теперь боишься?
— Теперь нет. Теперь ничего не боюсь. Один случай был — и всю трусость из меня на всю жизнь вынуло.

— Какой случай?

— Не хочу вспоминать. Как-нибудь расскажу.

Кеша не знал, что творил с Данькой. «Как-нибудь расскажу», — были не просто слова, а длинный прекрасный мост, который соединял сегодняшний день с будущей жизнью. Увидит Кеша во дворе Даньку, подойдет и на виду у всех по-своейски заведет разговор: «Помнишь, я тебе говорил про один случай, так вот пойдем, расскажем...»

Они въехали в свой двор в полдень. Солнце палило нещадно. Исчезли коляски с младенцами, попрятались по квартирам молодые мамы и старухи в белых платочках. Два друга — Женька и Костик, — не бравшие никогда в свою компанию Даньку, подскочили с горящими глазами к мотоциклу и уставились на Даньку.

— Забегай, — сказал Кеша и протянул Даньке руку, — второй подъезд, квартира тридцать.

Женька и Костик, выпятив груди, ели глазами Кешу. Старались, чтобы он их заметил. А заметив, он тут же поймет, что этот таракан Данька ни в какое сравнение с ними не идет. Но Кеша их не заметил. Покатил мотоцикл по дорожке к гаражу и ни разу не оглянулся.

— Куда ездили? — спросил Женька.

— На озеро. — Данька ответил миролюбиво, не поняв, что Женька заедается.

— Болото, — сказал Женька, — одни головастики.

— Мы на дальнее ездили. Километров за сто.

— Ерунда за сто, — сказал Костик, — мы завтра в поход идем. С палатками и рюкзаками. На пятьсот километров.

Данька встрепенулся.

— В какой поход?

— В обыкновенный. По путевкам.

— Платным?

— Так тебя на пятьсот километров бесплатно и поведут.

Женька и Костик весело глядели друг на друга: Данька, въехавший во двор на мотоцикле рядом с шикарным Кешей, был побит.

— А сколько стоит путевка? — глядя в сторону, спросил Данька. — И где ее продают?

— Двадцать рублей. Несешь в домоуправление двадцатку, и ты уже турист.

Данька сник. Поход на пятьсот километров — это в лучшем сне не приснится. Даже голова закружилась от одной только мечты — пойти в поход. Идешь с рюкзаком. А ночью сидишь у костра и выгребашь из него прутиком печеную картошку. Мечта пронзила сердце и вылетела напролет, оставив кровавый след. Вспомнил: ничего не получится — через три дня в лагерь.

— Я в лагерь еду, — сказал он Женьке и Костику, — через три дня, во вторую смену.

— Лагерь — ерунда, — Костик пригоршней сыпал соль на рану, — спи, как псих, после обеда, на первый-второй рассчитайся...

Данька вздохнул и побрел к своему подъезду. Голова кружилась от рухнувшей мечты и голода. Хорошо бы Симы не было на кухне, а то опять не избавишься от упретов и разговоров.

Симы на кухне не было. Как и вчера, за столом сидел Витя. Ел борщ, а рядом на сковородке лежали горячие котлеты. Данька по запаху ощутил, что они горячие, и проглотил слюну.

— Садись, — сказал Витя. Налил ему в тарелку борща, положил рядом ложку. — У Симы сейчас новая полоса — решила меня кормить и эксплуатировать на всю катушку.

Витя сидел в белой нейлоновой рубашке, чистый и молодой, рот, даже когда он жевал, растягивался в улыбке.

— В коммиссионном стиральную машину выписал, — сказал он, продолжая улыбаться, — новенькая, а стоит вполовину. Сейчас за ней поеду.

— Витя, — неожиданно для себя сказал Данька, — одолжи двадцать рублей...

Витя застыл с открытым ртом, с ложкой на весу.

— Ты что?

Данька рассказал про поход и путевку, и про лагерь, в который надо ехать через три дня. Витя выслушал и очень быстро нашел выход.

— Все проще пареной репы. Путевку в лагерь продаем, туристскую покупаем. Тебе надо немедленно ехать к матери на работу.

Время было дорого: Данька заглотнул котлету, забыл поблагодарить Витю за гривенник, который тот вручил ему на дорогу, и выскочил из квартиры.

Трамвайная остановка была за углом. Гривенник лежал в кулаке на тот случай, если появится контролер. Автомат гривенники не брал. Когда-то любую монету брал кондуктор. Отрывал билет и давал сдачу. Мать стояла у двери с сумкой через плечо, брала деньги и отрывала билеты. Данька ездил туда и обратно через весь город бесплатно. Кого-то толкали, кому-то через толпу не доходил билет, кто-то кричал на мать. Данька стискивал зубы и страдал. Зато, если мать удачно отвечала: «Если вы такой грамотный, то ездили бы в такси», — он вскидывал голову и гордился ею.

Теперь мать работает в ремонтной бригаде. Это лучше. Она сама говорит: «Теперь ни за какие деньги не согласилась бы весь день стоять стояком».

Данька сошел на конечной остановке и пошел к проходной трамвайного парка. Он бывал здесь и уверенно пересекал путаницу трамвайных рельсов, заставленных неподвижными вагонами. Один из таких вагонов, без колес, с надстроенным верхом, был конторой ремонтной бригады.

— Ты чей? — спросила его полная женщина.

Данька помнил ее, в этот Новый год она была сказочницей Ариной на утреннике в Доме культуры. Но она, конечно, его не помнила.

Он сказал, чей он. Женщина поглядела на него с сомнением:

— Сын?

— Сын. — Данька для вящей убедительности скосил углы губ и сделал страдальческие глаза.

— Не знаю, что и делать. — Женщина вздохнула и стала ему объяснять, как равному: — У нас совхоз подшефный. Мы туда летом людей занаряжаем. Помогать. Теперь у них там с помидорами запарка. А ты, значит, приехал домой, а матери нет?

— Это далеко? — спросил Данька.

— Не очень, если машиной. Километров сорок. Но машина только утром уходит, а возвращается почти ночью. — Она задумалась и вдруг встрепенулась: — Я сейчас туда позвоню, она и приедет сегодня с машиной.

— Не падо! — Он чуть не заплакал. — Не падо звонить! Она и так приезжает. Каждый день.

Он повернулся и пошел по запутанным трамвайным рельсам обратно. Одно озарение часто тянет за собой другое. Огибая трамвайные вагоны, Данька вдруг вспомнил лица Женьки и Костика. Наврал! Никакого похода на пятьсот километров не существует. Существует другая дорога, километров в сорок, по которой каждую ночь к нему едет на машине мама,

Дед Сева с острова Шикотан

Еще утром на вокзале Петя понял, что с этим дедом хлопот будет не ути. Не захотел ехать автобусом, заявил, что пойдет пешком.

— Поедем,— просил Петя,— как же ты пойдешь, когда такой рюкзак тяжелый и еще чемодан.

— Чемодан понесешь ты,— сказал дед,— поставишь на плечо, чтобы легче было, и понесешь.

Путь к дому был неблизкий. Позавчера, когда Петя провожал родителей к поезду, счетчик такси намотал за дорогу шестьдесят копеек.

— Пять километров,— сказал Петя жалобно,— целый час будем тащиться. А ты старый, тебе вредно.

— Мне полезно,— ответил дед,— я еще никогда не был в этом городе. Хороший город?

— Говорят, что хороший,— сказал Петя.— Я же других городов не видел.

Дед пошел впереди, хоть и не знал дороги, Петя с чемоданом на плече — за ним. Они прошли несколько кварталов. Петя взмолился:

— Дед, давай сядем в автобус.

Рядом была автобусная остановка. На остановке пустовала скамейка. Дед сел, Петя сбросил с плеча чемодан и тоже сел.

— Отдохнем,— сказал дед,— и опять пойдем. Город мне понравился.

В квартире дед, как только перешагнул порог, сразу направился в ванную. Открутил воду и зашел:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед...

Петя слушал, слушал, не выдержал и постучал:

— Дед, мойся. Потом попоешь.

Дед умолк на секунду, кашлянул и вдруг громче прежнего запел новую песню.

«Хоть бы голос был или слух», — с досадой подумал Петя. И еще он подумал о том, что дед будет жить у них все лето и теперь, хочешь не хочешь, песни его придется слушать.

Петя был разочарован. До сегодняшнего дня дед, живший на острове Шикотан, был необыкновенным дедом. Все в классе и во дворе знали, какой это замечательный дед — капитан рыболовецкого сейнера, настоящий океанский волк, с круглой от уха до уха бородой, с цепким, как у орла, взглядом. Этот дед курил черную трубку, в кармане носил флягу рома, а когда акула приближалась к сейнеру, дед с финским ножом в зубах бросался ей паперерез.

В тот день, когда от него пришла телеграмма, Петя ходил сам не свой от счастья. Родители волновались:

— Подумать только, как не вовремя. У нас путевки в санаторий, у Пети — в лагерь.

— Я не поеду в лагерь! — сказал Петя. — Я буду жить с ним до вашего возвращения. — С дедом с острова Шикотан он готов был жить всю свою жизнь.

Дед спел песен двенадцать или тринадцать и наконец вышел из ванной. Маленький, в синих трусах и в майко. Когда он сел в кухне на табуретку, Петя увидел его колени и вконец расстроился — разве у океанского волка может быть такая татуировка. На одной коленке у деда красовался фиолетовый цветок с двумя листками, на другой имя — Сева. Хорошо, что ребята летом поразъехались, а то этого деда хоть прячь.

«Что же с ним делать? — думал Петя. — В кино, что ли, сводить?..» Но у деда были свои планы.

— Речка тут есть? — спросил он.

— Есть.

— Давай-ка возьмем мой рюкзак — там палатка, и пойдем берегом, рыбы наловим, костер у воды разведем, ухи наварим.

Петя молчал. Вспомнил, как шел с вокзала с чемоданом на плече. Рюкзак, наверное, не легче. Дед такой, что вполне может взвалить на него и рюкзак.

— Можно и товарищей твоих с собой взять, — продолжал дед, — у тебя есть товарищи?

— Есть,— ответил Петя,— только все они в лагерях, а один в деревне.

— Тогда давай вдвоем. Песни по дороге будем петь.

— Давай лучше в кино пойдем,— сказал Петя,— у нас рядом с домом три кинотеатра. Посмотрим афишу, выберем картину и посмотрим.

— Видишь, какое дело,— печально сказал дед,— я уже был два раза в кино, и два раза меня выводили.

— За что?

— Храпел. Ты не беспокойся, я, когда нормально сплю, храп не издаю. А в кино или в самолете сидя спать приходится, ну и храплю почему-то.

Петя недоверчиво посмотрел на деда.

— Может, фильмы неинтересные были?

Дед ничего не ответил. Молча оделся, положил в карман рубль и ушел. «Я ему не понравился,— подумал Петя,— ну и пусть. Я тоже ждал совсем другого деда».

Впереди был длинный летний день. Можно пойти в парк или в соседний двор — там всегда на площадке футбол. Можно пойти в кино. Петя так и сделал: сначала направился в парк, потом погонял мяч в соседнем дворе, потом сходил в кино.

В обед Петя наведалься домой. Деда не было. «Заблудился,— подумал Петя,— города не знает. Свернул не туда и заблудился. Надо искать».

Нашел он деда в конце дня на городском пляже. Дед сидел на песке с красными, обгорелыми на солнце плечами и смотрел на лодку, которая причаливала к берегу. На веслах сидела беловолосая девчонка в зеленом сарафане. Когда нос лодки коснулся берега, она помахала деду рукой и крикнула:

— Мы все равно найдем его. Поехали!

Дед взял в одну руку ботинки, в другую — узелок с одеждой и двинулся к лодке.

— Дед! — забежав наперед, остановил его Петя.— Ты куда?

— Туда,— дед вытянул подбородок, показывая на лодку. Потом вприскокку побежал со своими ботинками и узелком к лодке.

Петя тоже побежал за ним.

— Кого вы собрались искать? — крикнул он девчонке. Но она не ответила, сильным рывком толкнула лодку с берега, взялась за весла. Петя нарочно отвернулся и не

стал смотреть им вслед. Дед удрал от него, пусть теперь сам за себя и отвечает.

Дед явился поздно.

— Привет! — сказал он Пете и больше ничего не сказал.

Утром Петя собрал на кухне молочные бутылки, сложил их в сумку и пошел в магазин. Во дворе на скамейке он увидел своего одноклассника Вадика.

— Вадька! — закричал Петя. — Как здорово, что ты прпехал!

Вадик повернул голову и сказал торжественно:

— Тише.

И тут Петя увидел, что Вадик на скамейке не один. Рядом с ним в стеклянной банке сидела жаба.

— Жаба? — спросил Петя.

— Жаба, — ответил Вадик.

— Зачем?

— Дрессировать.

Вадик всегда был важный, слова лишнего не скажет, а тут и вовсе раздулся от важности. Жаба в банке подняла голову и стала моргать.

— Пить хочет, — объяснил Вадик.

Сейчас Вадька уйдет поить жабу и будет дрессировать ее один.

— Вадька! — взмолился Петя. — Иди, пожалуйста, ко мне. Там напоишь свою жабу. А я в магазин и мигом назад. Держи ключи.

Вадик взял ключи, банку и направился к Петяному подъезду. А Петя побежал в магазин. Купил хлеба, молока, потом зашел в кондитерский и, думая о том, как они с Вадькой будут дрессировать жабу, возвращался домой. Только подходя к двери, он вдруг вспомнил про деда: проснулся или еще спит?

Дед не спал. Он сидел на стуле, отвернув голову к окну. На другом стуле, выставив вперед макушку, сидел Вадик. Услыхав, что кто-то вошел в комнату, он поднял голову, и Петя сказал: «Ой!» На лбу Вадика сияла красная свеженькая шишка.

— Как это тебя?.. — Петя хотел сказать «угораздило», но не успел. Вадик выбежал в коридор и там стал рвать дверь. Петя не ожидал, что у важного Вадика столько прыти.

— погоди, — сказал он ему, — объясни, что случилось.

— Он псих, твой дед,— разъяренным шепотом сообщил Вадик,— отобрал банку, и это он...— Вадик потрогал пальцем шишку.

— Он бил тебя? — холодея от ужаса, спросил Петя. Если он незнакомому мальчишке поставил такую гулю, можно представить, что он будет вытворять с родным внуком.

— Банку схватил и не отпускает,— шептал Вадик,— я тяну, а он не отпускает. Вдруг руки у меня соскользнули, я ляпнулся, и вот видишь.— Вадик опять потрогал шишку.

— Я разберусь,— сказал Петя, открывая Вадика дверь,— я его поставлю на место. Ты не волнуйся — жабу свою получишь.

Петя вернулся в комнату.

— Дед,— сказал он ласковым голосом,— давай поговорим серьезно. Ты почему себя так ведешь? Зачем тебе жаба?

— А ему зачем?

— Ему нужна для дрессировки. И вообще, это его жаба.

— Жаба ничья,— сказал дед.

— Как это ничья?

Петя обессилел. Этому деду ничего не докажешь. Придется теперь искать где-нибудь похожую на эту жабу и нести Вадке.

— Сколько тебе лет? — вдруг спросил Петя.

— Семьдесят. А что?

— А то, что очень много.

— А кто виноват?

— В чем виноват? — не понял Петя.

— В том, что мне семьдесят, а тебе одиннадцать.

— Никто не виноват. Просто мы родились в разное время. И ты меня старше на целых пятьдесят восемь лет...

— Пятьдесят девять,— поправил дед.

— Мы не на контрольной. Один год не имеет значения. Главное, чтобы ты не забывал свой возраст.

— Я помню,— вздохнул дед.

— Помнишь, а ведешь себя как маленький. Вадке шишку набил, жабу присвоил...

Петя ходил по комнате и объяснял деду, как надо вести себя.

— Ты старый,— говорил он,— ты должен отдыхать.

Познакомься, например, с каким-нибудь старичком во дворе и дружи с ним.

— Я не хочу дружить со старичком, — отказался дед. — У меня уже есть в этом городе один друг-старичок, и с меня хватит.

Дед опять ушел, не сказав куда и зачем. Петя тоже мог бы пойти, например, как вчера, в соседний двор. Там, когда ни приди, мяч в игре и в каждой команде не хватает игроков. Но какая тут игра, когда твой старший дед шляется неизвестно где.

С такими мыслями Петя вышел во двор, потом на улицу, потом сел на трамвай и поехал на пляж. Там он долго ходил по берегу, пристально вглядываясь во всех стариков. Деда среди них не было.

Он нашел его в парке. Дед кружился на карусели. На голове у него была бумажная шапочка с прозрачным пластмассовым козырьком. Такие же шапочки были на детях, и дед не выделялся.

Петя отошел в сторону и сел на скамейку. И хорошо, что сел, потому что дед запасся билетами и, когда карусель останавливалась, доставал билет из кармана и с новой партией детей начинал кружиться.

Перед скамейкой взад и вперед прохаживался высокий худой старик с пышными усами. Иногда он останавливался и смотрел на карусель. На лице у него появлялась улыбка, он снимал соломенную шляпу и махал ею. Наверное, у него там вращались внуки. Петя тоже поглядывал на карусель: дед мелькал перед ним то на слоне, то в самолете, но больше всего ему понравился лебедь: последние три билета дед подал контролеру, не слезая с лебедя.

— Почему-то на коня он не садится, — сказал мужчина, обращаясь к Пете.

Петя вздрогнул. Значит, этот, с пышными усами, тоже наблюдал за дедом.

— Очень странно, — сказал мужчина и сел рядом с Петей, — почему он избегает коня?

— Боится упасть, — сказал Петя.

Мужчина с сожалением поглядел на Петю и пошевелил усами.

— Он не может упасть с коня. Это невозможно.

— Почему?

— Потому что Сева и конь — всегда были одно целое.

— Это когда он молодой был? — спросил Петя.

— Да, — ответил мужчина, — он был молодой, и мы с ним воевали на Дальнем Востоке.

— Это было давно, — сказал Петя, — сейчас он другой. Никого не слушается, бегают где-то целыми днями.

— Тебя не слушается?

— Меня. Сып его со своей женой, с моей мамой, уехал на юг. Его оставили со мной. Я за него отвечаю, а он меня не признает.

— А ты не отвечай.

— А кто же будет? Вы ведь видите, как он себя ведет. Разве можно столько крутиться на карусели? Утром жабу отобрал у одного мальчика вместе с банкой.

— Банку пусть отдаст, — сказал мужчина, — а жабу, я скажу, чтобы выпустил.

Петя вздохнул, старик с усами тоже не очень походил на нормального старика.

— А вчера он весь день на пляже проторчал. Плечи обгорели. А если бы солнечный удар?

Старик опять пошевелил усами и рассердился.

— Послушай, а кто тебя уполномочил отвечать за него? Как это он без тебя до таких лет дожил? Может, ты оставишь его в покое?

— Нет, — сказал Петя, — не могу. Все уехали, а мне его поручили.

— Тогда, может, перестроишься? — спросил мужчина. — Иначе ты и его и себя затравишь. Он ведь сам за себя отвечать привык.

Петя замолчал, подумал и ответил:

— Он очень странный. Зайдет в ванную и поет там два часа. Я даже удивляюсь, какой он странный.

— Если бы ты умел удивляться, он бы тебе не казался странным.

— А зачем удивляться? — спросил Петя.

— Чтобы радость была, — сказал старик, — чтобы людям с тобой хорошо было. Я, между прочим, сразу заметил, что ты не умеешь удивляться.

Петя опустил голову. Старик продолжал:

— Я ведь тебя знаю. Мне Сева о тебе в письмах рассказывал. Писал, какой у него веселый, умный и смелый внук. А, оказывается, ты не такой.

— Я его тоже другим представлял. Думал, он настоящий океанский волк.

— Он и есть настоящий океанский волк.

— Он же маленький.

— Это ты маленький,— сказал старик.— Людей надо делить на смелых и трусов, на добрых и злых. А ты делишь на старых и молодых. Ты еще совсем маленький.

Карусель остановилась, дед слез с лебедя. Старик с пышными усами поднялся.

— Иди домой,— сказал он Пете,— мы долго не виделись. Он вчера всю реку на лодке избородил и не нашел меня. А я его нашел.

Петя никуда не пошел, остался на месте. И увидел, как бросились друг к другу, обнялись и расцеловались два деда — один большой, с пышными усами, другой маленький — его дед с острова Шикотан. И сразу их окружили люди. Женщина с девочкой остановилась возле Пети.

— Наверное, давно не виделись,— тихо сказала она.

— Они расстались после гражданской войны,— ответил Петя.

— Удивительно! — Глаза у женщины вспыхнули, и она подняла на руки девочку, чтобы и та увидела, как встретились два старых друга, два молодых деда.

Пирожков

Фамилия у него была, как у мальчика из детской книжки, — Пирожков. И сам он походил на веселого румяного третьеклассника. Глаза синие, редкого синего цвета, с насмешливым, по-мальчишески настырным взглядом. Губы добрые, спокойные, а разъедутся в улыбке — ямки на щеках.

— Вы, Пирожков, совсем не похожи на директора, вы похожи на мальчика, — говорила Галина Андреевна.

— А я и есть мальчик, — отвечал Пирожков, — только хуже.

Приходил он раз в месяц, десятого числа. Если на десятое падал выходной, тогда появлялся через день или два. Останавливался у двери и, выставив вперед лоб, улыбался как будто застенчиво, а на самом деле хитро.

— Здравствуйте, Пирожков, — говорила Галина Андреевна, — что вы застыли у двери? Проходите, не в первый раз.

Пирожков покидал порог, проходил к дивану, садился и вытягивал ноги. Разглядывал комнату, шкаф с книгами, стол, за которым сидела Галина Андреевна. Потом снова улыбался и говорил ей:

— Какая у вас смешная работа.

Галина Андреевна обижалась. Работа у нее была серьезная и неблагодарная: каждый день с утра до шести часов она читала чужие рассказы и писала на них ответы. Объясняла, почему они не могут быть напечатаны. Рассказы Пирожкова она тоже читала, но ответы на них не писала. Пирожков запретил ей это. У него была своя точка зрения: если уж так необходимо писать письма, то их надо адресовать героям рассказа. Или одному герою, если

в рассказе один герой. А писать письма человеку, который рассказал на бумаге чью-то историю, нелепо. Человек, которого называют автором, никакого отношения к этой истории не имеет. У него своя жизнь, собственная история, и он должен получать письма от своих родственников, друзей и знакомых, а не от какой-то Галины Андреевны, которую он знать никогда не знал.

Галина Андреевна уносила рассказы Пирожкова домой. Там их читала вслух вся семья. Мать, муж и две дочери Галины Андреевны очень любили эти рассказы. И хоть они никогда не видели Пирожкова, он был в их жизни своим человеком. Старшей дочери Галины Андреевны он представлялся красивым и загадочным. И ей было обидно, что он такой старый. Когда одному человеку двадцать лет, а другому сорок, то один из них, конечно же, очень старый.

— Мама,— говорила старшая дочь,— что он за человек? Пишет рассказы, а их не печатают. И никто их не читает, кроме нас.

— Он директор научно-исследовательского института,— отвечала Галина Андреевна.— Я уверена, что он доктор наук или, в крайнем случае, кандидат. А рассказы — это, наверное, его хобби.

— Нет, не хобби,— протестовала младшая дочь,— хобби — это когда собирают марки или выращивают кактусы. А рассказы не могут быть хобби.

Младшая дочь училась в шестом классе, и к словам ее не особенно прислушивались. Считалось, что самые правильные слова произносит муж Галины Андреевны. Он говорил:

— Да бросьте вы, ей-богу! На все вам надо привесить табличку с названием. Нравится человеку писать рассказы — пусть пишет. Надоест — не будет писать.

Вот этого — «не будет писать» — Галина Андреевна почему-то боялась. Однажды Пирожков не придет десятого числа, и окажется, что он не заболел и не уехал в командировку. Просто стал заниматься в свободные часы другим делом. Галина Андреевна считала, что это будет рыбная ловля. Она даже не раз представляла себе, как он сидит на льду в дубленом полушубке и смотрит своими синими глазами в лунку. Такой человек, если уж за что-нибудь берется, то всерьез и надолго. Но надолго — все-таки не навсегда...

— Пирожков,— спросила она его однажды,— может такое случиться, что вы перестанете писать рассказы?

Пирожков бросил на нее испуганный взгляд и пожал плечами.

— Я не думал об этом.

— А как вы относитесь к рыбалке?

— Отрицательно, — сказал Пирожков, — я пробовал удить, но это очень нудно. И к тому же мне не нравится, как рыба дергается на крючке. Рыба должна плавать в реке, а не дергаться на удочке.

— А как насчет жареной рыбы? — Галина Андреевна привыкла разговаривать с ним как учительница. А он привык отвечать ей как ученик.

— Жареную рыбу я ем,— ответил он,— тут у меня концы с концами не сходятся. Я люблю жареную рыбу.

Он сидел на диване, вытянув ноги, и вертел в руках свернутые трубочкой листки с новым рассказом.

— Я написал еще один рассказ. Про любовь.— Он поднялся, положил рассказ на стол и сказал, как всегда, на прощанье: — Очень у вас смешная работа.

Он ушел, а Галина Андреевна стала читать рассказ про любовь.

«Жена сняла тарелку со стены, бросила ее на пол и сказала:

— Я уйду от тебя. Ты этого хотел.

Он снял со стены ее портрет и тоже хотел бросить на пол.

— Глупо,— сказала она,— портрет повесь на место. Тарелку тоже повесь. Уж если она не разбилась, пусть висит.

Жена ушла. Он повесил портрет и тарелку и увидел, что в углах комнаты сидят дети и смотрят на него.

— Вы тоже уходите,— сказал он им.

Дети вышли из углов, пошли в прихожую и там стали одеваться. Старший ребенок завязывал всем шарфы.

— Мы будем иногда приходить к тебе в гости,— сказал средний ребенок.

— Мы будем тебя вспоминать,— сказал младший.

Он закрыл за ними дверь, вернулся в комнату и увидел, что возле кресла сидит на полу еще один мальчик.

— Почему ты остался? — спросил он у него и вдруг понял, что это не его ребенок, а чей-то чужой.

- Ты чей? — спросил он.
— Я с верхнего этажа, — ответил мальчик.
— Тогда одевайся и иди на свой этаж.

Мальчик поднялся, залез в кресло и спросил:

- А если я туда не пойду?
— Пойдешь. Все ушли и ты уходи...»

Галина Андреевна прочла начало рассказа и огорченно покачала головой. Определенно наступило время писать Пирожкову письмо... У него нет никакого понятия о жанрах. Жена бросает тарелку, куда-то уходит. Герой выгоняет из дома маленьких детей. Наверняка в этом рассказе есть какая-то мораль. Но как можно с серьезным видом писать подобный бред. Это явный сюжет для юмористического рассказа. Она поглядела в окно и задумалась: куда же могли уйти эти дети?

«— Мы еще увидимся, — сказал соседский мальчик, вылез из кресла и направился к двери.

- Погоди, — остановил он его, — как зовут твою мать?

— Каролина, — ответил мальчик и подмигнул ему, — мы еще увидимся. Ты жди. И не сиди, как принц датский, с вопросом в глазах — быть или не быть?! Запомни: быть! Подмети полы. И сложи белье для прачечной, номерками наружу.

Он подмел полы и сложил белье номерками наружу. В глазах его погас вопрос. Потом он выбросил в мусоропровод забытый ботинок своего младшего ребенка, порвал картинку — домик с забором и с собачкой на крыльце, — которую нарисовал его средний ребенок. Увидел копя на четырех колесах, который принадлежал его старшему ребенку, и вышвырнул его на лестничную площадку. Между младшим, средним и старшим ребенком были у него еще дети, общим числом семь. Жена была восьмая, он — девятый».

В этот день Галину Андреевну ждали дома с нетерпением.

— Принесла? — крикнула ей из комнаты старшая дочь, когда Галина Андреевна появилась в прихожей своей квартиры.

— Я не слышу, — дверь ванной открылась, и в ней показалась голова мужа. — Он приходил? Принес рассказ?

— Принес, — сказала Галина Андреевна. — Он написал рассказ про детей. Какой-то бред про семью, в которой было семеро детей...

— Пожалуйста, не рассказывай,— перебила ее старшая дочь,— ты все равно так не расскажешь, как он написал.

Все усадились вокруг стола. Галина Андреевна достала из сумки рассказ и стала его читать. Каждый слушал по-своему. Бабушка, сжав плотно губы, осуждающе глядела в одну точку. Муж улыбался, это была странная улыбка, которая говорила: только я один понимаю, про что он пишет. Младшая дочь заглядывала попеременно всем в глаза. Старшая дочь слушала с восхищением. Ей нравилась каждая фраза, и от этого у нее мерцали глаза и розовели щеки.

Галина Андреевна читала рассказ звонким голосом. Всем в семье нравились рассказы Пирожкова, и она даже те рассказы, которые считала бредовыми, читала старательно, с выражением.

«Каролина пришла к нему вечером. Жепщину с таким именем надо было встречать с цветами. Но он только извинился, что нет цветов, и предложил ей сесть в кресло.

— Расскажи мне, какой ты была двадцать лет назад,— попросил он.

Она рассмеялась и сказала, что двадцать лет назад ей было всего четыре года.

— Ты, наверное, считал, что я старше. Может быть, ты вообще меня считал старухой?

Он покачал головой. Он считал, что любит ее. А когда человек любит, он спрашивает: какой ты была в детстве? Что тебе больше нравится — зима или лето? И еще ему хочется что-то совершить для того, кого любит.

— Хочешь, я открою окно, и луна влывет к нам в комнату,— сказал он.

— Не влывет она,— ответила она,— окон много, а луна одна. Зря ты прогнал моего ребенка. Теперь мне надо идти домой, на свой этаж.

— Я своих тоже прогнал,— сказал он.

— Можно было бы оставить одного,— сказала она.— Теперь тебя будут осуждать люди.

Она поднялась, а он подумал, откуда у нее такое имя — Каролина.

— Не уходи,— попросил он,— мне страшно.

— А ты включи свет,— сказала она,— и не будет страшно. Вскипяти чай, съешь что-нибудь. И постарайся думать о чем-нибудь веселом.

Она ушла. Он постарался подумать о чем-нибудь веселом и заплакал. Он понял, что когда человек не любит, то уходит легко и у порога заботливым голосом дает ненужные советы.

Он позвонил ей по телефону.

— Что мне сделать, чтобы ты полюбила меня?

— Разлюбить,— ответила она,— и тогда я буду страдать и любить тебя.

— А иначе нельзя?

— Нет. Иначе не бывает».

Галина Андреевна вдруг остановилась. Посмотрела на младшую дочь, потом на мужа.

— Кое-кому из присутствующих,— сказала она,— не следовало бы слушать именно этот рассказ.

— Я все равно ничего не понимаю,— быстро возразила младшая дочь.

— Она не понимает,— сказал муж.

Старшая дочь посмотрела на мать и сказала надменным голосом:

— А я понимаю. Читай дальше, мама.

— Читай,— попросил и муж.

«Он плохо спал эту ночь. Луна подплывала к стеклу окна, просилась в комнату, но он этого не замечал. Только когда полосы лунного света сложились в слова, он очнулся, взгляделся в потолок и прочел зыбкую фразу, колышущуюся на потолке: «Большая любовь приносит большое горе».

«Тогда не надо, чтобы это была большая любовь,— стал думать он,— пусть это будет обыкновенная любовь, маленькая, незаметная. Пусть ее сын живет в этой комнате и сидит в этом кресле. А портрет жены можно переделать. Если его не удалось разбить, то можно переделать. Взять фламастер и нарисовать другие брови и губы. И тогда это будет портрет просто женщины, которой никогда не было на свете».

Потом он стал думать о поездках, как они днем и ночью бегут по рельсам. И сейчас бегут поезда. В разные стороны. С разными людьми. Люди едут, а он лежит в постели на одном месте. Но если соберет чемодан и купит билет, то тоже сможет куда-нибудь поехать. И там, где-нибудь, он будет совсем один. Лучше уж быть совсем одному, чем рядом с маленькой, незаметной любовью...»

Галина Андреевна дочитала рассказ до конца, огляде-

ла свою оцепеневшую семью и сказала решительным голосом:

— Мне не нравятся ваши лица. Можно подумать, что вы потрясены этим так называемым пропавшим Пирожкова. Ему надо писать в жанре фантастики, если его так тянет на всякую невероятность. А о любви надо писать возвышенно и реалистично.

— Откуда это тебе известно? — перебила ее старшая дочь. — Кто может знать, как надо писать о любви... Это знать невозможно.

— Она знает, — сказал муж, не глядя на Галину Андреевну. — У нее работа такая, знать, как и про что надо писать.

Все замолчали и задумались. Бабушка поднялась и пошла на кухню ставить чайник.

Потом все ужинали: ели оставшиеся от обеда котлеты и пили чай.

А когда все уснули, младшая дочь вышла в прихожую, нашла по городскому телефонному справочнику номер Пирожкова и позвонила.

— Извините, если я вас разбудила, — сказала она, — я дочь Галины Андреевны. Мы сегодня читали ваш рассказ.

— Здравствуй, Шура, — сказал Пирожков, — ты не разбудила меня. Я не спал.

— Я не Шура, а Лена, — сказала младшая дочь. — Почему вы написали, что большая любовь — это большое горе?

— Так я думаю, — ответил Пирожков, — другие думают иначе. Они думают, что это большое счастье.

— Я тоже думаю, что это счастье, — сказала младшая дочь, — но мне бы хотелось знать точно.

— Сколько тебе лет? — спросил Пирожков.

— Тринадцать.

— Несчастливое число. Но ничего, потом будет четырнадцать и так далее. Знать точно, что такое любовь, невозможно.

— Но ведь вы пишете, что это горе...

— Это я знаю для себя, а для тебя не знаю...

Пирожков помолчал и добавил:

— Свои рассказы я пишу для взрослых. Когда их читают дети, они многого не понимают. У них возникают преждевременные вопросы.

— Совсем не преждевременные, — возразила младшая дочь, — просто взрослые плохо знают детей.

— А дети еще хуже знают взрослых, — сказал Пирожков. — Если люди друг друга не понимают, какая разница — взрослые они или дети.

— А вот я вас понимаю, — сказала младшая дочь. — Вы были женаты, а потом разошлись и женились еще раз. И тогда вы подумали, что большая любовь — это большое горе.

— Нет, не угадала, — сказал Пирожков, — это все не так просто. Ты когда-нибудь думала о том, почему у человека одна жизнь?

— Думала. Это для того, чтобы каждый человек дорожил своей жизнью. Когда у человека что-нибудь одно, он этим дорожит.

— Правильно. Дорожит, но и подумывает, а хорошо бы было не одно, а два. Две, например, жизни, или три...

— Тогда бы в первой жизни все легко умирали, — сказала младшая дочь. — Когда впереди еще две жизни, умереть не страшно.

— Я не про смерть, — сказал Пирожков, — я про то, что человек хотел бы, чтобы у него была не одна жизнь, а две, или три, и даже есть такие, которые бы хотели прожить двадцать разных жизней.

— Но это же невозможно! — сказала младшая дочь.

— В том-то и дело, — ответил Пирожков и вздохнул. — Но трудно с этим мириться. И некоторые протестуют. Они мучают своих детей, хотят, чтобы они были вторым и третьим вариантом их жизни. А дети живут свою единственную жизнь и не могут быть ничьим вариантом. Некоторые, чтобы перенестись из этой в другую жизнь, пьют вино или водку. Эти уж совсем дураки. Потому что гоняясь за призраком, губят свою реальную единственную жизнь.

— Я угадала! — крикнула младшая дочь и замолчала, испугавшись, что разбудила своих и сейчас кто-нибудь придет и прервет такой неожиданный разговор с Пирожковым. Пирожков тоже молчал. И ему стало не по себе, что младшая дочь на самом деле разгадала его тайну.

— Я угадала, — очень тихо сказала младшая дочь, — вы записываете на листки свои разные жизни...

— Ну и что? — растерянно ответил Пирожков. — Ничего в этом нет особенного, эти жизни совсем не лучше

той, которая у меня есть. И потом, не я один так делаю.

— Но их печатают,— укоризненно сказала младшая дочь.

— Пусть печатают,— вконец расстроился Пирожков.— Просто они, наверное, знают, как надо жить.

— Нет, они тоже не знают,— сказала младшая дочь.— Наверное, они пишут не для себя. А вы — для себя. Когда человек в одной или в нескольких жизнях интересуется только собой — он научить ничему не может.

— А надо учить? — спросил Пирожков.

— Надо,— сказала младшая дочь,— про всех не скажу, а меня надо. У меня впереди такая большая жизнь, что пока второй не надо.

— Ты счастливая, — вздохнул Пирожков, — может быть, ты такой и останешься. Во всяком случае, я желаю, чтобы твоя единственная жизнь была и твоим единственным рассказом о большой любви, которая большое счастье.

— Спасибо,— сказала младшая дочь.

— Спокойной ночи, Шура,— сказал Пирожков.

Повесть

Пешком в мамино детство

Бабушка Тамара

По субботам у нас весело. Папа прибегает с работы рано, запирается в ванной и оттуда командует: «Петька, рубашку!», «Петушок, тащи гребешок». Выходит он из ванной выбритый, в белой рубашке, идет на кухню показаться маме.

— Очень хорош,— говорит мама,— просто непонятно, в кого такой хитрый. На вот,— она вручает ему помойное ведро,— работай.

Папа вздыхает, смотрит на свои чистые руки. Я берусь за венчик, из кухни доносится мамин голос:

— Так в хоккей играют, а не метут. Согни свой молодой позвоночник, в углы заглядывай.

И все равно весело. На сковородке в кухне гора не магазинных, а на мясорубке навораченных котлет. Из пакетов вытряхиваем на блюдо яблоки. Потом накрываем чистой скатертью стол. Теперь только маме надеть свой вишневый шелковый костюм, и пусть она приходит. У нас все готово.

Бабушка Тамара приходит в семь часов. Достает из сумки тапочки, надевает их в прихожей и говорит:

— Приятно, когда в доме собирается вся семья.

Нам тоже приятно. Бабушка хвалит котлеты, говорит маме, что она золотая хозяйка, что с папой они на редкость дружная пара. Я смеюсь. Бабушке это не нравится.

— Гогочет, как гусь,— говорит она маме,— у нас в роду никто так не смеялся.

Папа давится котлетой, мама бьет его по спине, они еклоняются над столом и теперь уже оба задыхаются от смеха. Бабушка отворачивается и смотрит на экран теле-

визора, у которого выключен звук. Упылый лысый мужчина, опустив веки, шевелит губами.

— Мама,— говорит папа,— какие новости на водных просторах?

Бабушка Тамара поворачивается к папе и вдруг тоже начинает смеяться.

— А что,— говорит она,— на водных просторах прекрасно. Тот директор завода стал вполне прилично плавать.

Уже второй год наша бабушка Тамара ходит в бассейн. Как вышла на пенсию, так сразу туда и записалась. Сначала они учились плавать в мелком загончике — «лягушатнике». Потом постепенно лучших пловцов переводили в «бодрую» группу. Остался в «лягушатнике» один только толстый шестидесятилетний директор завода. Но, оказывается, его тоже перевели.

— Прекрасный человек,— говорит о нем бабушка Тамара,— депутат, доктор наук. Обидно было смотреть, как он один тосковал в «лягушатнике».

— А как насчет того, чтобы побить рекорд? — спрашивает папа.— Насколько я понимаю, финская пловчиха Шелли здорово обставила всю вашу «бодрую» группу. Сто метров за четыре секунды!

Никакой Шелли, конечно, не существует. Просто папе надо поговорить про бассейн.

— За четыре секунды,— отвечает бабушка Тамара,— можно поставить рекорд только по болтовне. А Шелли пусть сначала доживет до моих лет, а потом ставит рекорды.

Бабушка Тамара никогда не обижается на папу. Он ее единственный сын. Она посвятила ему всю жизнь. Если бы не война, из него получился бы выдающийся человек. Профессор или дипломат. Она пыталась дать ему хорошее воспитание. К нему в детстве ходила за деньгами одна культурная старушка. Она учила его немецкому языку. Но папа был ленив, и бабушкины деньги вылетали на ветер. Папа начинал рыдать, когда эта старушка только появлялась в прихожей. Из двух уроков он запомнил на всю жизнь только одну немецкую фразу: «Эр хойльт ви айн хималай энбер». По русски: «Он воет, как гималайский медведь». Старушка не учила его этой фразе, она говорила сама себе, когда он ревел, но почему-то именно эти слова папа запомнил.

К маме бабушка Тамара не относится так нежно, как к своему сыну, хоть и часто хвалит. Ей не нравится, как мама воспитывает меня. Однажды из-за этого они даже поссорились. Началось все с новой квартиры. Мы только что в нее переехали и целые дни стояли «охи» и «ахи». «Ах, две комнаты!» «Ох, горячая вода!» «Ах, надо мебель новую покупать!» Зашел я в одну пустую комнату, взял книгу, залез на подоконник и читаю. «Хорошо, просто чудесно, думаю, когда две комнаты. Читаешь — никто не мешает». И вдруг заходит мама и бабушка Тамара. И начинают обсуждать, где лучше спальню сделать, где столовую. Слушал я, слушал и спокойно так говорю:

— Женщины, идите разговаривать в другую комнату. Не видите, что ли, я читаю.

Мама вся вспыхнула, схватила меня за ухо и стащила с подоконника.

— Слыхали? Разве это человек? Это же барчук!

Бабушка встала на мою сторону:

— Очень старорежимное и неприятное словцо. При чем здесь барчук? Просто недостаточно вежлив.

Мама не на шутку разозлилась.

— Нет, именно барчук! Чересчур у него легкая жизнь. Заглянул папа.

— Нормальный современный ребенок, — сказал он. — Видел тигра, слона, а вот козла домашнего живьем не видел.

— Козел здесь ни при чем, Толенька, — сказала бабушка, — ребенок должен остаться ребенком. Нелзя, чтобы он все понимал и чувствовал, как взрослый.

— Должен чувствовать! — спорила мама. — Обязан, если собирается вырасти человеком, а не барчком.

— Не знаю, не знаю, — обиделась бабушка. — Лев Толстой, Александр Сергеевич Пушкин, Чайковский, Софья Ковалевская, что уж они такого чувствовали в детстве? Даже были официально барчуками, барскими детьми, а выросли гениями.

Но маму не так легко переспорить.

— А Горький, а Ломоносов? Но дело сейчас даже не в них. Ни Лев Толстой, ни Пушкин, ни Лермонтов не были в детстве барчуками. У всех у них было трудное детство.

— Леночка, ты что-то уж чересчур, — сказал папа.

— Да, да, перечитайте их биографии, — горячилась

мама, — у них было очень нелегкое детство. Были детские балы, лакеи, экипажи, но сколько они работали в ранние годы! Знание языков, музыки, наконец, хорошие манеры... все это даром не достается. А сколько страдания, любви, протеста жило в их детских душах. Бессонные ночи, слезы бессилия, жажда справедливости, готовность к борьбе... Из всех барчуков я хорошо знаю одного — Илюшу Обломова. И он был глубоко несчастным человеком.

Мама победила. Бабушка Тамара вышла в прихожую, сменила тапочки на туфли и сказала:

— Воспитание ребенка — ваше семейное дело. Я в это больше не вмешиваюсь.

С этого дня она стала приходить к нам только по субботам.

Папа и мама

Когда бабушка Тамара хвалит папу и маму, какая они дружная пара, я не могу удержаться от смеха. Они часто ссорятся. А уж перед приходом бабушки Тамары обязательно. Маме обидно, что весь этот порядок, и котлеты, и накрахмаленные салфетки бабушка будет приписывать ей одной. Папа больше всего на свете боится, что бабушка когда-нибудь застанет его с помойным ведром или с ножом в руках.

— Этого я никогда не пойму, — говорит мама, — ведь она сама женщина. Неужели она не знает, что все эти обеды, полы, кастрюли самая изнурительная штука на свете.

— Эта штука всегда считалась женским делом, — отвечает папа. — Можешь не продолжать, я давно усвоил, что мы одинаково работаем и ты даже получаешь на пятнадцать рублей больше меня.

— Пятнадцать рублей — это твое собственное открытие, и не приписывай его мне. Просто надо подумать, куда улетучилось мужское дело.

Мама убедит кого угодно. Когда-то люди разделили домашнюю работу на мужскую и женскую. И разделили справедливо. Мужчины строили жилье, со смертельной опасностью уходили в лес добывать пищу, охраняли свой дом от врагов, потом уже, при царе, они кололи дрова, пахали поле, уходили зимой на заработки, чтобы прокормить семью, а женщине доставалась более легкая часть в этой

жизни — варить, стирать, нянчить детей. Потом все пере-менилось. Хитрые мужчины придумали водопровод, паровое отопление, провели в свои дома электричество, а жеп-щины так и остались у своих первобытных кастрюль и тряпок.

— Стоп,— говорит папа,— хитрые мужчины придума-ли еще пылесос и стиральную машину. Мы могли бы все это купить, если бы не «Фрегат».

«Фрегат «Паллада» — это пианино. Мы купили его в прошлом году, залезли в долги, но я этого не оценил. Провалился на экзаменах в музыкальную школу, и мама устроила меня к Софье Романовне. Она жила в соседнем доме, в однокомнатной квартире, половину которой зани-мал желтый, старинный рояль. И еще там у нее висела картина в рамке из деревянных листьев. На ней Софья Романовна в детстве — в белых чулочках и с белым бан-тиком. Я приходил к ней два раза в неделю, мыл руки и подходил к роялю.

— Гаммы,— говорила Софья Романовна, садилась в кресло и закрывала глаза.

Однажды, когда я играл «Болезнь куклы» Чайковско-го, она вскочила, сморщилась, будто ей наступили на но-гу, и набросилась на меня.

— Что ты стучишь, как дятел? Видеть надо, чувст-вовать.

Я с удивлением посмотрел на нее.

— У девочки кукла заболела. Очень заболела. Девоч-ка плачет, ведь кукла ей дочка, может умереть.

Неожиданно у меня вырвалось:

— Черт с ней!

Софья Романовна остолбенела, я стал оправдываться.

— Не девочка же заболела, с куклой, вы сами пони-маете, ничего не случится.

Софья Романовна молча походила по комнате и ска-зала:

— Иди домой.

Дома с моей музыкой тоже никому счастья не было. Папа сразу окрестил новенькое пианино «Фрегатом «Пал-лада».

— Ну, поплыли,— говорил он, когда я начинал свои гаммы,— по морям, по волнам. Скучно вам, тошно нам.

Он уходил в другую комнату, включал радио и садил-ся работать. Радио ему почему-то не мешало.

Мама очень хотела, чтобы я занимался музыкой. Она впускала мне, что я пожалею когда-нибудь об этих днях, но будет поздно. Больше всего ее убивали моя лень и неблагодарность. Помог мне случай. Мама пришла после работы и сказала:

— Случайно узнала: можно купить путевку в Артек. Дорого, но надо подумать.

Папа посмотрел на пианино, за которое еще мы не расплатились, потом на меня.

— Первый раз слышу, что в Артек можно купить путевку. Я думал, туда посылают лучших пионеров.

— Так оно и есть, — сказала мама, — путевка предназначалась одному мальчику, но он заболел.

— Купите путевку! — взмолился я. — Дорогие, милые, купите путевку!!

— Успейте, — сказал папа, — слушать противно. Может, тебе еще ракету на Марс купить?

— Между прочим, — поддержала его мама, — путевкой наградили юного музыканта. Ты тоже без всяких воплей мог бы добиться такого.

Я тут же сел за пианино и ударил по клавишам. Я давил педаль и не жалел пальцев, «Фрегат» ревел в ответ зверем. Папа махнул рукой.

— Если и будут успехи, — сказал он, — то не раньше, чем через пятьдесят лет. Есть надежда, что бесплатная путевка в дом отдыха пенсионеров от него не уйдет.

Он ушел в свою комнату и включил радио. Я играл долго: гаммы, этюды Черни, маленькие фуги Баха, все легкие пьесы из «Детского альбома» Чайковского. Я решил доказать, что у меня есть воля, старание и способности. Мама вышла из комнаты. Сквозь шум звуков я услышал ее слова:

— Петя, отдохни.

И тут же раздался папин голос:

— Пусть играет! Редкий случай заработать всей семье путевки в нервную клинику.

Это был мой последний музыкальный концерт. Ночью я упал с кровати и просил маму, чтобы мне разрешили на пианино поплыть в Артек. По морям, по волнам...

Мама закрыла пианино на ключ. И теперь оно, по словам папы, «стоит как памятник потраченным деньгам».

С этого дня дома у нас стало тише, хотя, конечно, полной тишины, когда мы все дома, не бывает. Шум создаю

я. Так считает мама, когда она приходит с работы в плохом настроении. Если ее цех простаивает из-за деталей или на планерке главный инженер опять «жевал то да се и ничего по существу», то вечером я опять окажусь зачпнищиком шума. Маме для этого многого не надо. «Будет у нас когда-нибудь порядок?» Это она спрашивает прямо с порога. «Петр, иди сюда. Неужели трудно застегнуть пуговицы? Посмотри на свои ногти...» Папе она говорит: «Нет, этот патриархат, я вижу, никогда не кончится. Взять нож и почистить картошку — это, конечно, сверх вашей догадливости». Она отламывает кусок батона, наливает холодный чай и идет пить к папиному столу, чтобы он видел, как ей плохо живется на свете. Папа сидит за столом, на котором стопка папок с надписью «Дело № ». Он их приносит со своей работы, из милиции. Через минуту они или хохочут, или ссорятся по-настоящему.

— Все это остроумно и здорово, — говорит папа, — но надо было об этом сказать там, на вашей почтенной планерке. Дома ты просто Цицерон.

— Очень у тебя все просто, — сердится мама, — думаешь, легко так взять и сказать.

— У меня, конечно, все очень просто, — папа кивает на свои «Дела», — самые простые вещи, какие только существуют на свете, как раз в этих папках. Поэтому и сижу над ними по ночам.

Однажды я спросил у него:

— Тебе их не жалко?

Папа стукнул ладонью по «Делам» и вздохнул.

— Нет. Дураков нельзя жалеть.

— Так уж все дураки.

— В конечном счете — да. Дураки. Одним жадность ум застилает, другим — водка, третьи — просто безвольные человечки.

— И безвольных не жалко?

— Понимаешь... тут такое дело, что они не совсем безвольные. Воля какая-то есть, называют ее тягой. Тяга к красивой жизни. Люди работают, волнуются, живут, а они против всего этого течения барахтаются, жмут. И все это на страхе, на большом зверином риске. Все себе, о себе: жрать, пить, не работать, перехитрить всех. Разве умный человек согласится на такую жизнь?

Папа редко говорит со мной серьезно. Чаще он шутит. Приходит домой и кричит: «Петька! Тут у порога чьи-то

двойки валяются. Не из твоего портфеля?» Весной он выпустил стенную газету и вывесил на кухне. Называлась она «За власть родителей», и, конечно, вся была посвящена мне. Рисунки, как я сплю и вижу во сне велосипед, стоя на коленях, вымаливаю купить щепка. Последний рисунок был самый злой — я на пианино плыву по морю в Артек. Но больше всех от него достается Аленке с пятого этажа. Родители у нее артисты, вечером уходят в театр и Аленку иногда подкидывают нам. Они так и говорят: «Лена и Толя, разрешите и на этот вечерок подкинуть вам наше сокровище». «Сокровище» приходит с ночной рубашкой под мышкой, садится на диван, и, если папа не работает, начинается концерт. Аленке недавно исполнилось четыре года. Папа говорит, что это самый людоедский возраст. Аленка за два месяца съела трех домработниц и ждет новую жертву.

— Вы же съели их, мадам? — спрашивает папа.

— Съела, — отвечает Аленка, — всех съела.

Она привыкла, что в нашей квартире ей морочат голову, и не обижается.

— Люблю людоедов за откровенность, — говорит папа, — не ребенок, а Синяя борода. Родителей давно надо представить к медали «За отвагу».

Потом начинается суд над Аленкой. Папа — прокурор, мама — адвокат, я — изображаю платок съеденной домработницы и даю показания о своей бывшей хозяйке.

В такие вечера мне очень хочется, чтобы вдруг пришла бабушка Тамара. Пусть бы посмотрела, какие мы на самом деле дружные и веселые. Почему у нас не всегда так? Я пришел к выводу, что в этом виновата мама. И однажды сказал:

— Если бы у тебя был другой характер, у нас была бы хорошая семья.

Мама подняла брови.

— Ты считаешь, что у нас плохая семья?

Я не мог сказать, что плохая.

— У тебя такой характер: любишь ссориться и кричать по пустякам.

Мама подумала и сказала надменным голосом:

— Папа тоже это любит. Мы оба любим ссориться. Если тебе это не нравится, поищи других родителей.

Мама не шутила, она обиделась по-настоящему. На другой день, когда я уходил в школу, она спросила:

— Петька, неужели ты действительно считаешь, что у меня плохой характер?

Мне не хотелось еще раз обижать ее.

— Характер у тебя не злой, — сказал я. — Ты покричишь, а через минуту забыла и смеешься. Только папу жалко. Он тебя любит и терпит.

Я отвернулся, не мог ей говорить такие слова в лицо. Мама рукой взяла меня за подбородок и повернула к себе. Я увидел, что глаза у нее растерянные.

— Петька, я тоже люблю папу.

Не знаю, что дернуло меня за язык.

— А Павлика?

Рассказать невозможно, что случилось с мамой. Она покраснела, стукнула меня ладонью по лбу и крикнула:

— Иди! Видеть тебя не могу. Такому дураку, как ты, ничего и рассказать нельзя. «А Павлика?» — передразнила она меня. — Ничего не может сказать язык, когда нет сердца и в голове пусто.

Конечно, не надо было ей говорить про Павлика. Я это сразу понял, но было уже поздно. Мама очень рассердилась, и я почему-то тоже. Когда она выпихивала меня за дверь, я крикнул:

— Больше никогда не спрашивай у меня о своем характере!

Павлика я никогда не видел, но знаю о нем много. Очень давно, двадцать лет назад, когда еще шла война, его привезли в госпиталь в сибирский город Томск. В этом же городе всю войну жила моя мама. Она с девочками из своего класса ходила работать в госпиталь и там познакомилась с Павликом. Он лежал в палате для самых тяжелых раненых, весь в гипсе, как белая статуя. Мама читала ему книги и рассказывала разные истории. Оказалось, что они оба родились на Кубани и что Павлик всего на один год старше ее. Это была первая мамина любовь. Потом с него сняли гипс. Переломы на ногах и руках срослись, но ходить без костылей он не мог. Когда его выпиывали из госпиталя, он сказал маме: «Я обо всем подумал, Лена, и ты не обижайся. Я — инвалид, а у тебя вся жизнь впереди». Он уехал и не оставил адреса.

Папа однажды сказал:

— Теперь розыск человека — дело несложное. Давай разыщем Павлика. Узнаем, как живет.

Мама не согласилась.

— Таким же образом он мог разыскать меня сам.— И тут же ополчилась на папу: — Я понимаю, что тебе хотелось бы, чтобы он разыскал меня еще до нашей встречи.

— Как ни странно,— сказал папа,— но не хотелось бы.

Папа тоже никогда не видел Павлика. Иногда он достает его фотокарточку и ставит на письменный стол: «Вот Павлик считает...» — обращается он к маме и говорит, что считает Павлик,— поехать папе в воскресенье на рыбалку или купить ему наконец приличный портфель. И каждый раз Павлик настойчиво «советует» продать пианино.

Борька

Если считать, что у разных великих людей было трудное детство, то из Борьки, конечно, получится гений. Жить Борьке трудно. Наверное поэтому он считает, что самый лучший возраст — пять лет. Он так и говорит: «Золотое было времечко. Уроков учить не надо, гости дарят игрушки, ходи себе в сандалях с белыми носочками, и никаких забот». Если Борька вспоминает что-нибудь хорошее, то всегда начинает так: «Когда мне было пять лет...» Сейчас Борьке двенадцать. Он с первого класса отличник, и еще он танцует. Мать его всех уверяет, что Борька стал танцевать раньше, чем ходить. В первом классе его отдали в балетную студию, но кто-то сказал, что там его испортят: он будет танцевать, как все, а у Борьки, дескать, какой-то особенный талант, который нельзя портить. Теперь он танцует дома под проигрыватель. Каждый день по два часа. В четвертом классе отец ему разрешил выступить на пионерском сборе. Борька здорово выламывался под музыку, прыгал, замирал, откинув голову, и нагнал на всех страха. Вожатая посоветовала ему разучить «яблочко» или «кубинский танец». Борька ответил, что он импровизирует на разные темы. Больше его не просили выступать.

Дома у Борьки, если он не импровизирует, тихо, как на кладбище. Отец чаще всего, когда я прихожу, лежит на диване, мать — что-то пьет. Иногда отец говорит мне:

— Мальчик, приди попозже, Боря еще не занимался.

Это значит, что он еще не танцевал под проигрыватель. Я ухожу и про себя думаю: «Вот тип. Какой уже

год к Борьке хожу, он все «мальчик». Один раз прихожу — Борька в углу стоит.

— Вот видишь, Боб,— говорит отец,— мальчик пришел, а ты наказан. Ты осознал свою вину?

— Осознал,— отвечает Борька,— прости, пожалуйста, папочка, такого больше не будет.

На улице я спросил Борьку:

— Ты что натворил?

— Натворил... Самописку его взял. У него их три штуки.

— Зачем же прощение просил?

Борька посмотрел на меня как на овечку.

— Эх ты! Да разве с ним можно по-другому!

— Бьет?

— Разговаривает. Морали читает. Лучше бы уж бил.

Борька сказал, что к моралиям он почти привык. Самые страшные дни в его жизни бывают после родительских передач по радио. Отец и мать садятся у приемника, а Борьку отправляют спать, хотя еще только восемь часов. Борька не знает, о чем говорят в этих передачах, но жизнь у него на следующий день становится невыносимой. Родители говорят с ним заунывно-вежливыми голосами. Отец кладет ему руку на плечо, и просит прощения: «Извини, друг, помнишь тот день, когда ты стоял в углу за самописку? Так вот, я тогда был неправ». Мать каждый раз после этих передач составляет ему режим дня, и без того тоскливая жизнь Борьки становится просто невыносимой. «Если бы мне было пять лет,— мечтает Борька,— я первым делом вывинтил бы все лампы в приемнике».

Недавно мы с Борькой попали в беду. Родители его ничего не знают, но я боюсь встречи с ними. Особенно с отцом. Началось это так. Мы с Борькой пошли в парк. Было еще светло, часов шесть, но в парке уже горели белые шары фонарей. Здорово пахло молодыми листьями и землей, как после дождя. Мы шли по главной аллее и говорили о том, что осталось нам учиться двенадцать дней и что надо как-нибудь так устроить, чтобы летом не разлучаться. Потом мы свернули с главной аллеи и присели на скамеечке перед большой клумбой с желтыми тюльпанами. Тюльпаны в вечернем сумраке торчали на клумбе как свечки. Два дня назад их здесь не было. Посадили, видимо, вчера или сегодня уже готовенькими.

— Если отцу местком опять даст бесплатную путевку, в лагерь, то мне не отвертеться,— сказал Борька и вздохнул.

Он не любил ездить в лагерь. Наверное, потому, что отправляли туда его на все три смены и Борька вздохнуть вольно за все лето не мог. Подъем, линейка, в столовую строем, после обеда притворяйся, что спишь. А все потому, что отец его умудрялся доставать эти путевки бесплатно.

Так мы сидели на скамейке перед клумбой, говорили и не ждали ниоткуда беды.

— Слушай,— спросил меня Борька,— а почему эти цветочки на ночь закрываются. Может, мерзнет у них там что-нибудь внутри?

— Просто спят,— сказал я.— Ты что глаза закрываешь, потому что мерзнешь?

Борька хихикнул:

— Какая разница, где им спать. Давай нарвем?

Я оглянулся по сторонам. Никого.

— Давай,— и все внутри задрожало у меня от страха и опасности.

Мы рвали тюльпаны молча и один раз даже стукнулись лбами. Борька спросил:

— Трусись?

Я вло сверкнул глазами. Мы оборвали полклумбы и, не сговариваясь, молча побежали в другой конец парка, подальше от места преступления. Скамейка белела в темноте, и мы с разбегу бухнулись на нее. Оставалось решить самое трудное: что с этими цветами делать? Бросать жалко, домой нести невозможно. Подарить какой-нибудь влюбленной парочке? Но всю свою смелость мы уже потратили на клумбе, и на это ее не осталось. Ломать голову нам долго не пришлось. Молодая тетка с красной повязкой на рукаве дунула над моим ухом в свисток. И тут я почувствовал, как крепкая парковая скамейка стала качаться подо мной: трое парней выросли на дорожке и уставились на нас.

— Откуда у вас эти цветы?

Врать было бесполезно, но Борька рискнул:

— Мы купили их вон там, на главной аллее, у одпой старушки.

Лучше бы уж он молчал. Дружинники переглянулись и засмеялись.

— Хватит с ними ляды точить,— сказал один из них,— поднимайтесь, красавчики.

Я схватился за соломинку... Решил схитрить. Было это очень глупо, но я тогда плохо соображал.

— Даю вам честное пионерское, что с этой клумбы мы ни одного цветка не сорвали.

— Пионер,— презрительно сказала молодая тетка,— уж лучше бы молчал. Пошли, там разберемся, какой ты пионер.

У меня похолодела спина. Где это «там»? Мы поднялись и пошли. Букет нес я. Тюльпаны спали и не видели нашего позора.

По дороге Борька заплакал.

— Отец ведь узнает,— шепнул он мне,— понимаешь? Я понимал.

— Товарищи дружинники,— сказал я им,— Борька вот этот, он случайно ко мне подошел. У него мать в больнице лежит, а отец пьяница. Он убьет его до смерти, если узнает, что его задержали.

Дружинники остановились, посмотрели на плачущего Борьку и сказали:

— Ну что ж, если случайно подошел, тогда другое дело. Иди.

Борька побежал не оглядываясь. А меня привели в комсомольский штаб. Девушка в красном платье увидела меня, улыбнулась и сказала:

— Ах, какая прелесть!

Я опешил, но когда она взяла у меня букет, я понял, что прелесть — цветы, а не я. Она поставила тюльпаны в банку, а мне сказала:

— Садись.

И тут же сразу привели пьяного парня. Он еле стоял на ногах, и волосы его были почему-то мокрыми.

— Ничего я вам не скажу,— кричал он,— и что на инструментальном заводе работаю, не скажу, ничего вы от меня не узнаете.

Девушка сказала:

— Опять с инструментального,— и велела пьяному замолчать,— не видите, здесь ребенок.

Пьяный повесил голову между колен и уснул, а девушка в красном платье взялась за меня. Записала где живу, и кто родители, и кто классный руководитель. Когда я сказал, что папа работает в милиции, она удивилась.

— Подумать только, у такого родителя...

Потом придвинула к себе букет...

— Эти цветы — труд многих людей. Их выращивали для того, чтобы украсить город, а ты в одну минуту все погубил. Цветы — это общественное достояние, и тебе должно быть стыдно за свой хулиганский поступок.

В общем, я немножко успокоился, и, когда она звонила домой, спина моя уже не холодила от страха.

Мама пришла в штаб, расписалась, что получила меня, поглядела на цветы и на пьяного и велела мне выйти в коридор. Когда мы шли домой, она сказала:

— Я думала, что ты не способен на такое. А ты почти «герой». Кому же предназначались эти цветы?

Мне хотелось что-нибудь придумать, но кому может пятиклассник подарить цветы? Маме? Так врать я не мог.

— Никому, просто так, взял и нарвал.

— Так вот, завтра, просто так, возьмешь и пойдешь в зелентрест, купишь сорок тюльпанов и посадишь их на ту клумбу, которую изуродовал.

Так оно потом и было. Три раза мы с Борькой ходили в зелентрест. Ничего нам сначала не хотели продавать, пришлось рассказать про штаб, и тогда все заинтересовались. Даже дали нам инструкторшу, которая показала, как надо закапывать луковицы тюльпанов в землю.

Люди останавливались возле нас и говорили: «Ай да молодцы, вот настоящие пионеры».

Нам с Борькой легче было умереть, чем слушать эти слова.

Начались каникулы

История с тюльпанами быстро не забылась. В классе хотели провести сбор на тему «Пионер — друг растений», но вожатая сказала, что не стоит отравлять конец учебного года, я и так достаточно поплатился. «Поплатились», конечно, мои родители, но я не стал это уточнять. Дома мне по уши хватало разговоров о том злополучном вечере. «Что это ты сегодня желтый, как... тюльпан?» — спрашивал папа. В субботу, перед приходом бабушки Тамары, мама сказала: «Ну вот, блеск и чистота, еще бы букетик тюльпанов на стол... Да, Толя?..» Папе очень хотелось найти причину, которая толкнула меня на преступление.

— Дело прошлое, Петушок, но что тебя все-таки толкнуло на эту клумбу?

Я не мог сказать ему ничего вразумительного.

— Ничего не толкнуло. Просто взял и нарвал.

— Так не бывает. Иду я, допустим, по улице и вдруг взял да и разбил витрину магазина. Это поступок психа, у нормального человека на это есть причина.

Бабушка Тамара выручила меня:

— Та же причина,— сказала она,— которая перенесла тебя через забор за Авдеевыми грушами.

Папа задумался, улыбнулся и перестал меня допрашивать. А я потребовал:

— Расскажите про Авдеевы груши.

Перед войной, когда папе было столько лет, сколько мне сейчас, вся их семья снимала дачу в деревне. Дом был очень хороший, на обрыве возле реки, с садом и огородом. Хозяйева уехали проводить внуков и все, что росло в саду и огороде, разрешили рвать и есть бабушкиной семье. Там росли какие-то необыкновенные груши и сливы. Папа мог есть их без счета. Но он почему-то ночью забрался в соседний сад деда Авдея, залез на дерево и стал рвать твердые, как камни, недозревшие груши. Дед Авдей поймал его и привел к бабушке. Еще он принес длинную хворостину и посоветовал бабушке выстегать папу.

— Стегала? — спросил я бабушку.

— Надо бы,— ответил за нее папа,— и тебе следовало бы всыпать за тюльпаны.

— Теперь нет такого закона,— сказал я,— теперь другое время.

— Ему кажется, что мы жили при царе Горохе,— мама вздохнула.— Петя, в каком году началась война?

Я сразу ответил:

— В тысяча девятьсот сорок первом.

— А день?

День я забыл.

— Вот видите, он все это учит, для него что битва под Сталинградом, что на Куликовом поле — цифры из хронологии.

— Война закончилась девятого мая в День Победы,— сказал я.

— Пять,— рассмеялся папа,— очень хорошо, что она закончилась как раз в День Победы. Представляешь, что было бы, если бы война затянулась еще дня на три?

Я понял, что надо мной издеваются.

— Был бы еще один праздник,— сказал я таким голосом, чтобы он знал, что я его раскусил,— День Победы и День окончания войны.

Подошел последний день в школе. На линейке директор школы поздравила всех с окончанием учебного года и стала вручать похвальные грамоты и подарки лучшим ученикам. Борьке дали грамоту и толстую книжку «Советы юным кролиководам». Мне вынесли устную благодарность. Потом нас послали домой переодеваться. Будет общегородской воскресник. После тюльпанов я в первый раз зашел к Борьке. Отец его тоже поздравил нас с окончанием учебного года, полистал Борькины «Советы кролиководам» и спросил, что подарили мне. Я не растерялся:

— «Советы юным пчеловодам».

Борька хихикнул, но отец его ничего не понял.

— Молодцы,— сказал он,— а теперь: кончил дело — гуляй смело.

— Гулять некогда,— сказал я,— у нас воскресник. Будем собирать макулатуру.

— Воскресник во вторник! Трудовое воспитание...— Борькин отец поморщился.

— Макулатура — сырье для тетрадей и книг,— объяснил я ему,— общественно-полезное дело.

Борькин отец согласно закивал головой. Он не стал спорить.

Утром, хотя был еще конец мая, начались летние каникулы. Целый день я слонялся по двору, не зная, чем заняться. Каникулы, каникулы... ждешь их целый год, а приходят, и никакой радости. К вечеру, перелистав все старые журналы, я позвонил Аленке.

— Эй, людоедка,— сказал я ей,— приходи в гости.

Аленка радостно взвизгнула и спросила:

— Ты уже сделал уроки?

Эти слова согрели мое сердце.

— Никаких уроков, Аленка! Все! Капут. Понимаешь, кончились уроки. У меня каникулы!

Аленка пришла и с любопытством осмотрелась по сторонам:

— Где твои каникулы?

Я рассмеялся.

— Дурочка ты, Аленка. Каникулы — это свобода, вольная жизнь, сплошные воскресенья.

Аленке это понравилось. У нее тоже были хорошие новости. Родители уезжали с театром на гастроли, а ее удалось пристроить в детский сад. С ним она поедет на дачу.

— Много, много детей,— рассказывала она,— дача в лесу стоит, и все дети рвут грибы и ягоды.

— И еще там волки, медведи,— решил я напугать ее,— придут и съедят тебя.

Любоедка-Аленка ничего не боялась. Но мама почему-то решила вступить за нее.

— Не говори ребенку глупостей,— сказала она и позвала нас на кухню пить чай.

Когда мы пили чай, мама спросила:

— А ты сам как думаешь проводить каникулы?

Я пожал плечами. Как будто кто считается с моим мнением.

— Будет у всех отпуск, и поедем куда-нибудь. Как в прошлом году.

В прошлом году мы все ездили к морю. Снимали комнату у одного старичка-рыбака. У него была лодка и ослица Ланка. Сначала нам все понравилось. Море было в двух шагах, вечером разводили костер и варили уху. Мама и бабушка Тамара говорили, что лучшего отдыха быть не может. Но через несколько дней папа стал портить всем настроение.

— Как вы не видите,— говорил он о нашем хозяине-рыбаке,— это же отъявленный спекулянт. Ночью он здесь проворачивает такие делишки...

Мама и бабушка не верили и доказывали, что у папы просто действует профессиональная привычка. Он никак не может выключиться из своей следовательской работы. Разве может такой дряхлый старичок быть преступником. У него даже скатерти на столе нет, и нас он впустил к себе в дом, чтобы немного подзаработать. И разве можно называть домом эту рыбацью хибарку? Но через день папа объявил нам, что у бедного старичка в городе двухэтажный дом и «Болга», а сам он матерый спекулянт рыбой. Рыбу он сам не ловит. Ему доставляют ее ночью, а он уже сплавляет ее дальше.

Бабушка Тамара просила папу, чтобы он не ввязывался в это дело. Папа рассердился. Он сказал, что вот через таких благодетелей, как его мама, и процветают темные личности. Сам он заниматься этим делом не будет. У него

отпуск. Но в двадцати километрах отсюда есть районное отделение милиции. И там уже все знают.

Мы переехали в пансионат. И здесь нашему отдыху пришел конец. Сначала нас не хотели поселить в одной комнате от того, что у папы и мамы разные фамилии. Мама толкала меня в спину прямо на худую администраторшу и говорила:

— Это его и мой сын.

— Сын меня не интересует. Меня интересует этот гражданин. Кто он?

— Это мой муж.

В конце концов комнату нам дали. Но доверием мы особенно не пользовались. Каждое утро к нам входила делегация работников пансионата и проверяла по списку простыни, полотенца и остальные вещи. Мы бы все это еще терпели, но вдруг в пансионате появилась толстая дама с маленьким мальчиком, который подбегал ко всем и на всех кашлял. Кашлял он ужасно, как будто кто его душил за горло. Бабушка сказала его матери:

— Что вы делаете? У него же коклюш.

Толстая дама ответила:

— Поэтому я и привезла его к морю.

Коклюшем я не болел. Поэтому мы уехали раньше срока.

Ехать опять к морю мне не хотелось. Я перешел в шестой класс и в школе уже считался старшеклассником. Когда читаешь газеты или слушаешь радио, то просто обидно становится за свою жизнь. Люди ходят в походы, живут в палатках, пекут картошку на костре. И ничего плохого с ними не случается. Я так и сказал маме:

— Я бы пошел в поход. Но кто меня возьмет с собой? И кто меня отпустит?

— Ты действительно этого хочешь?

Я понял, что попал в точку, и загорелся:

— Знаешь, как я мечтаю об этом! Чтобы не в машине, а своими собственными ногами идти куда-нибудь далеко-далеко. Ночевать на дереве, костер разводить от разных зверей, купаться в незнакомых речках.

Я разошелся и нарисовал такую картину, что Аленка не выдержала:

— Петя, возьми меня в поход.

— Нет, даже Аленка,— сказал я,— и та понимает, что такое поход.

Мама ничего не сказала. А назавтра, когда мы несли из магазина картошку, она спросила:

— Петя, ты умеешь хранить тайны?

Я вздрогнул. Всею душой я понял, что сейчас произойдет что-то необыкновенно важное.

— Я завтра подам заявление об отпуске. И мы с тобой пойдем в поход. На много дней и ночей, и все пешком и пешком. Пойдем в мое детство.

Пешком в мамино детство

Мы вышли на улицу, чтобы походить и обсудить план нашего похода.

— Ты никогда не спрашивал у меня, какой я была маленькой.

— Я знаю,— ответил я,— знаю, что у тебя была очень трудная жизнь. Наверное, ты рада, что все это кончилось.

— Мал ты еще, Петька, и очень благополучен, чтобы понимать жизнь. Детство всегда хорошо, какое бы оно ни было. Но вот наступает такая пора, Петенька, когда человеку хочется пройти по дорогам, по которым он бегал в детстве, встретить людей, которые помнят его маленьким.

Моя мама размяталась, и мне пришлось вернуть ее на землю.

— Надо составить маршрут, заготовить еду, нужны рюкзаки. Поход — дело серьезное.

Мы зашли в магазин, купили пасту и новые зубные щетки, обсудили, у кого можно одолжить рюкзаки. Зубные щетки чуть нас не подвели. Папа стал нас подозревать.

— Почему эти обновки только двоим? — спросил он, увидев на столе щетки.

Мама притворилась рассеянной.

— Где же третья, — и с серьезным видом принялась искать, — точно помню, что было три щетки.

Я выскочил из комнаты, чтобы не рассмеяться. Но папа насторожился. Он был следователем, а мы не очень опытными конспираторами. Мы давали ему улики. Очень большие. У него на столе остался черновик нашей маршрутной карты.

— Что это? — спросил папа.

Я обомлел, потом взял себя в руки:

— Это — тайна.

Папа не стал допрашивать.

— Чужие тайны надо уважать. Надеюсь, вы не собрались бежать в Антарктиду.

Он что-то знал. Сказал «вы», а не «ты».

— Нет, — ответил я ему, — до Антарктиды слишком далеко.

Через день, в пять часов утра, мы тихонько поднялись, взяли в руки рюкзаки и положили на стол мамину записку: «Толя! Не сердись. Мы тебя любим и обязательно вернемся. Лена, Петя».

Мы сели в первый трамвай и ехали до окраины города. Впереди был пустырь, за ним — большая стройка консервного комбината, а за ним начиналась дорога, которая поведет нас далеко-далеко, в мамину станицу.

— Товарищ начальник маршрута, — сказал я, — горизонт чист, тучи не угрожают нам грозой, пора двигаться в путь.

Мы поправили на плечах ремни рюкзаков и пошагали. Больше часа мы шагали бодро. Я пел песни и сбегал с дорог, чтобы сорвать цветок или погоняться за бабочкой. Кругом никого не было, и я мог орать, сколько влезет: «Идут знаменитые колумбы! Всемирно-известный Робинзон Петька и его Пятница Елена! Эй, звери-птицы, видите, кто идет?!»

Скоро я перестал кричать. Почувствовал, что рюкзак нудно давит спине и никаких зверей и птиц рядом нет. Есть только солнце, которое против нас: жарит, слепит и мучит жаждой. Фляжка с водой была у мамы. Воду мы подсолили: как советовал справочник туриста. Я глотнул и выплюнул. Мама тоже выплюнула. Колодец мог быть только в населенном пункте. Я шел, глотал слюну и мечтал о холодной воде. Нам повезло. Колодец стоял прямо в начале поселка. Мы бросили деревянное ведро на веревке в темную холодную бездну и, зачерпнув, вытянули его в четыре руки. Я припал к ведру и не мог оторваться. Мама сказала, что сейчас у меня лопнет затылок и вода забьет фонтаном обратно в колодец.

Женщина с ведрами подошла к нам и сообщила, что из этого колодца воду берут только для стирки и скотины, а питьевая вода недалеко отсюда в колонке. Мама потрогала ладонью мой живот:

— Дизентерию ты себе уже обеспечил.

Потом порылась в рюкзаке и достала мешочек с ле-

карствами. Я выпил две таблетки и лег на траву, в животе хрюкало, и мне захотелось заболеть. Пусть бы меня положили куда-нибудь в тени и не беспокоили. Я готов был уснуть и проснуться дома. Мне больше никуда не хотелось идти. Эта жеппина подошла к колодцу специально, чтобы убивать нас разными ужасами. Когда мама спросила: «А какой здесь колхоз?» — она гордо повела плечами и ответила, что это город. Оказалось, что это совхоз и он входит в черту нашего города.

— А вы куда направляетесь? — спросила женщина.

Мама посмотрела на меня и ответила:

— Направляемся к морю.

Тогда женщина принялась рассказывать, как нам пройти к автобусной остановке. Как раз через полчаса будет проходить автобус на Новороссийск. Он шел по нашему маршруту.

Я выразительно посмотрел на маму. Она ничего не сказала. И мы молча, как два дезертира, направились к автобусной остановке. Там мы сняли рюкзаки и стали оправдывать себя в собственных глазах. Во-первых, мы не собирались путешествовать по городу. И если уж получилось, что мы зря шагали десять километров по городу, то сейчас можем проехать немножко в машине.

Автобус подошел, места в нем были. Я с удовольствием сел в кресло с полотняным чехлом. Что уж говорить, я готов был ехать так до самого Новороссийска. За окном мелькали деревья и цветы, ветер дул из открытого окна, и если бы можно было закрыть глаза и поспать, то большего счастья и придумать трудно. Я с сожалением поглядел из окна на пешеходов, потом закрыл глаза, но мама не дала уснуть.

— Это с непривычки, Петя, — сказала она, — поднялся очень рано и устал в дороге. Нам скоро сходить.

Она взяла билеты по 25 копеек, и мы скоро вышли у маленького домпка с надписью: «Дорожный мастер». Жена дорожного мастера продала нам молоко и объяснила, как идти дальше, чтобы было не по шоссе, а по более спокойной дороге.

Мы снова двинулись в путь. Дорога, по которой мы шли, лежала за лесополосой. Лесополоса отделяла ее от шоссе. Но вдруг дорога завернула вправо, и мы пошли в сторону от шоссе. Потом нам встретился кустарник возле маленького болотца. Здесь было прохладно, и мы с мамой

решили отдохнуть. Сели, посидели, потом наломали веток, легли головами на рюкзаки и не заметили, как уснули. Первой проснулась мама.

— Петя,— затормошила она меня,— вставай, темнеет уже.

Я поглядел на небо. Солнце садилось, но было еще светло. Я пошел за мамой следом и почувствовал, что она волнуется. Я решил подбодрить ее:

— Товарищ начальник маршрута, приготовьте оружие, дикие звери притаились и ждут темноты, чтобы напасть на нас.

Небо и все вокруг стало серое. Темнота приближалась, и маме не стало веселей после моих слов.

— Встретить в пути плохого человека хуже диких зверей,— сказала она, и мне стало страшно.

А тут еще дорога раздвоилась, и мы совсем растерялись. Я погадал на пальцах. Оба указательных пальца два раза проехали мимо, и это означало, что ни по одной из дорог идти не стоит. Но мы свернули налево, эта дорога по нашим расчетам, вела к шоссе. Темнота нахлынула сразу. Я понял, что всякие трусливые мысли надо сейчас гнать подальше.

— Вот это как раз то, о чем я мечтал,— говорил я маме,— чтобы темно и таинственно, чтобы ночь и костер. У нас есть спички, и у нас будет костер. А может быть, мы не сбились с пути и придем в станицу. И нас пустят ночевать на сеновал. Я читал, что путешественников всегда отправляют ночевать на сеновал.

— Ты вправду не боишься, Петя? — спросила мама.

— Кого бояться? — бодро ответил я.— Кто посмеет напасть на отважного Робинзона и его Пятницу?

Но в душе я боялся. И мама не очень верила моей храбрости. Она сказала:

— Надо представить, Петя, что мы несем важный пакет своему командиру. И пусть темно и опасно, а мы идем, потому что это очень надо.

Молодец моя мама. А как же в войну партизаны действовали в тылу у врага? Они боялись? Боялись. Бояться — это от человека не зависит. Главное, чтобы не стучать зубами от страха, и чтобы никто не заметил, что ты боишься. А чего бояться нам? Мы идем по своей земле. Нигде не стреляют, и враги не караулят нас за кустами. Просто мы не привыкли ходить по ночным дорогам. Мы

ложились спать и не думали о том, что далеко за городом бегут в разные стороны дороги и ночь накрывает кусты и тропинки своей темнотой, и страшно бывает тому, кто идет в этой темноте, не зная дороги.

Мы шли и шли. Тропка виляла, и иногда начинало казаться, что мы кружим вокруг одного и того же места. Мама, не оборачиваясь, спрашивала:

— Ну как ты там, живой?

Я шел за ней живой и бодрый. Днем мы все-таки хорошо выспались в кустарнике.

В черном небе показались звезды. Я загляделся на них, споткнулся и боднул головой мамин рюкзак.

— Ты что? — остановилась она.

— Звезды. Смотри, сколько звезд.

Мама остановилась, и мы стали смотреть на небо. Яркие точки были планетами, а мерцающие звездочки были солнцами, только находились очень далеко и поэтому никого не грели.

— Можешь представить себя на месте космонавта? — спросила мама. — Земля спит, а ты один в ракете вот в такой необъятной пучине неба.

Я представил.

— А ты смог бы?

Я не хотел ей врать. Когда на экране телевизора с воем крутилась центрифуга, я закрывал глаза и глотал слюну. Я не годился в космонавты. Но если мне и хотелось в жизни быть на кого-нибудь похожим, так это на Андрияна Николаева. Мне нравятся его спокойствие, выдержка и сила. И еще мне нравятся его брови. По таким бровям сразу можно определить, что за человек. Маме я ответил:

— Об этом еще рано говорить. Если все улетят в космос, кто же останется на земле?

Звезды подмигнули мне с черного неба. Мама поднялась и, ничего не сказав, пошла вперед. Я не стал ее особенно догонять.

— Тебе хочется, чтобы я говорил, как все, — кричал я ей вслед, — пожалуйста! Я буду космонавтом.

Я догнал маму, она смеялась.

— Петька, — сказала она, — а куда мы все-таки идем? Тут смех напал и на меня.

— По-моему, к трамвайной остановке. Мы уже незаметно сделали крюк и теперь приближаемся к своему дому.

Темнота больше не пугала нас.

— Эй,— крикнул я,— что вы прячетесь? Выходите, не бойтесь, мы вас не съедем!

Я кричал просто так. В темноте всегда кажется, что кто-то есть рядом, но не виден. Я кричал:

— Толстые труссы! Испугались старушку и маленького ребенка.

Я хитрил. На старушку с маленьким ребенком даже разбойник не будет нападать.

— Можешь изображать из себя ребенка, но из меня старушку не делай,— попросила мама.

Я вспомнил, кто мы такие.

— Непобедимый Робинзон и его верная Пятница вызывают вас на поединок,— кричал я,— поднимайте забра-ла, выходите на честный бой.

Я добился своего. Черная тень человека появилась впереди нас на тропинке. Мы остановились. И замерли. Я вцепился двумя руками в мамин рюкзак.

— Кто тут глотку дерет? — спросил старческий скрипучий голос.

Это был дед. Он подошел к нам и зажег спичку.

— Кто такие? — голос его звучал сердито.

Мама ему все подробно объяснила.

— Век живи, век дивись,— сказал дед и пошагал от нас в сторону.

Он не пригласил нас с собой, но мы с мамой, не сговариваясь, побежали за ним. Тропки не было, и мы прыгали по каким-то колючим, больно царапающимся листьям.

— В междурядья ноги ставьте,— слышался дедов голос.— Вы мне всю бахчу потопчете.

Скоро мы увидели маленький белый домик, на стене которого светил фонарь. Дед снял фонарь и поставил его на скамейку. Потом он принес откуда-то ведро воды и сказал:

— Управляйтесь.

Мы достали полотенца и умылись, поливая друг друга прямо из ведра. Кружку мы просить постеснялись. Воды хватало и на ноги, мы вымылись и сели на скамейку рядом с фонарем. Дед принес нам хлеба и миску с клубникой. Мама полезла в рюкзак.

— Мы вам заплатим.

Дед рассердился.

— На базаре платить будете.

Он опять куда-то исчез. А мы принялись за клубнику. «Кто не ел ее ночью с хлебом, тот по-настоящему и не ел клубники». Это сказала мама. Ягоды были огромные, я откусывал каждую по два раза. Осилить всю клубнику мы не смогли, в миске осталась почти половина.

— Не знаю, как и благодарить вас,— сказала мама,— имени вашего не знаем.

Дед ответил, что зовут его Иваном Макаровичем. Он что-то все хотел сказать, все вздыхал, потом решил:

— Где вам почевку организовать, все думаю. Дом у меня нежилой, вроде склада. Там кровать есть, да всяким барахлом завалена.

— А вы сами где спите?

Он спал на сене, под навесом. Навес был камышовой крышей на трех столбах и стоял вдали от домика. Иван Макарович повел нас за собой, освещая путь фонарем. Потом он ушел, сказав на прощанье: «Свалились вы на мою голову».

Я лег на колючее сено. Мама легла рядом.

— Старик злится,— сказал я,— что мы к нему нагрянули.

Мама укрыла меня старым дедовым пиджаком.

— Хороший он человек. Кто мы ему такие? А он последнее свое отдал.

На бахче

Я проснулся и долго не мог понять, где мы. Рядом спала мама. Я стряхнул с себя сено и вышел из-под навеса. Ночью я, конечно, не мог всего этого видеть. Вокруг меня лежало огромное зеленое поле в желтых цветах. Кое-где цветы повяли и отвалились, вместо них оставались мохнатые зеленые шарики. Я сорвал один. И вдруг как-то сам догадался. Это же арбуз. Детеныш-арбуз. Кто бы мог подумать, что полосатые пузачи в начале своей жизни бывают такими. Первым делом я кипулся к навесу, хотел разбудить маму, но на ходу передумал. Еще успею. Пусть спит.

Арбузы росли ровными рядами, я шел между ними по холодной утренней земле, и только изредка колючие резные листья царапали мне ноги. Ночью они кусались злей, ночью не сразу нащупаешь ногами междурядье.

Я посмотрел на небо и увидел солнце. Там, где облака редели, оно пробивалось через них, и казалось, что где-то

вдалеке идет дождь из солнечных лучей. Это было утро. Я смотрел по сторонам, ожидая встретить Ивана Макаровича. Может, ему не понравится, что я разгуливаю по его бахче. Я уже собрался повернуть обратно к навесу, как вдруг увидел в мохнатых резных листьях белые уши. В первую секунду сердце мое остановилось, потом стало тарахтеть, как мотор забуксовавшей машины. Заяц! Белый заяц грыз шарик арбуза. Раздумывать было некогда, я плашмя, грудью бросился на зайца и ухватил его трясущееся тело обеими руками. Я бежал, не разбирая междурядий, к белому домику и орал не своим голосом:

— Заяц! заяц! заяц! — Я увидел Ивана Макаровича, перевел дух. И высоко поднял свою добычу за уши.

— Я поймал зайца!

Мне показалось, что Иван Макарович улыбнулся.

— Попался, бродяга, — сказал Иван Макарович и сунул моего зайца в мешок.

— Он вредитель, да? — спросил я.

— Ясное дело, вредитель. Уж я им говорил, я их предупреждал, зайчатников этих, теперь я им представлю доказательство.

— Каких зайчатников?

Иван Макарович похлопал ладонью по мешку:

— Которые зайцев разводят.

— Зайцев?

— Ну, не зайцев, так кроликов. Одна их порода — грызуны.

Я чуть не заплакал. Бежал как угорелый, зайца поймал голыми руками. Я расстроился, от этого задал глупый вопрос:

— Вы видели, как я бежал?

— Видел, милоч, видел. Бежал будто тебе заряд дробин в одно место влепили.

Он мог бы и не говорить такого. И без его слов мне было тошно. Иван Макарович вскинул мешок за спину и позвал меня:

— Пошли чай варить.

Мы пришли с ним к белому домику. Кролика вместе с мешком Иван Макарович сунул в старую рассохшуюся бочку, а меня послал за водой к колодцу. Когда я вернулся с ведром воды, на черном, выжженном на земле кругу уже горел маленький костер, и пламя его лизало бока прокопченного чайника.

— Вы что же, вроде как святым на поклон идете? — спросил он.

Я ничего не сказал, и Иван Макарович, прикурив от щепки папиросу из газеты, объяснил:

— В старину вот так пешком в святые места грехи замаливать ходили.

— Какие там грехи, — сказал я, — просто пешком интересней. Машина мчится, много не увидишь.

Иван Макарович закашлялся, обдал меня едким дымом своей газетной папиросы и покачал головой.

— А я в твои годы про машину и знать не знал. Жили мы тогда в Сибири. Отец надумал переезжать сюда, на Кубанские земли. «Поедем, говорит, в даль дальнюю». — «А на чем поедем?» — спрашиваю я. А он мне: «На машине». Ох, и настрадался я тогда с этой машиной. Подберусь огородами к поповскому дому, приложусь глазом к окошку и страдаю. Как же, думаю, все наше семейство на такой машине уместится. У попадьи машина швейная в горнице стояла. Вот, кроме этой машины, я себе другой и представить не мог. А ты говоришь: мчится пибко, ничего не разглядишь...

Чайник закипел. Иван Макарович снял его, и я заметил, что позади нас стоит мама.

— А вы давно здесь живете? — спросила она.

— На бахче или как?

— В этих краях.

— Как приехали, в девятьсот шестом, с тех пор и живу.

— Сергея Тимофееенко знали?

Иван Макарович снял с костра чайник, налил в кружки и только после этого ответил:

— Сергея я знал. Его все знали. А ты, случаем, не родня ему?

— Дочка.

Сергей Тимофееенко — мамин отец. Он был первым председателем колхоза, и его убили кулаки, когда мама была маленькой. Бабушка Настя, мамина мама, договорилась с одним человеком, чтобы он ночью отвез ее на подводе в город. В городе бабушка Настя устроилась уборщицей в школе, там ей дали комнату. Маме совсем не надо было выходить, чтобы попасть в свой класс. После уроков она убирала классы, мыла полы, потому что бабушка Настя очень болела. Когда фашисты стали подходить к городу, директор школы сказал:

— Вы, Анастасия Васильевна, родом из деревни. По-
езжайте туда с дочкой, там вам будет спокойнее.

— Нет,— сказала бабушка Настя,— я клятву себе да-
ла — туда не вернусь.

И они пошли с мамой по дороге, по которой, спасаясь
от фашистов, шли тысячи людей. Потом их привезли в
Сибирь, в город Томск. Там, через два года, бабушка На-
стя умерла.

— Это правильно, что решила провести родные ме-
ста,— сказал Иван Макарович,— и мальчонку правильно,
что с собой ведешь. Деда, стало быть, его, Сергея Тимо-
феевко, народ помнит. Сколько ж тебе тогда было?

— Пять лет.

— А Настя жива?

— Умерла. В войну. В Сибири.

— Прокляла она нас, Настя, мамаша твоя. Наши
ездил к ней в город. В служанках служила, с хлеба на
воду перебивалась, но не вернулась.

— Она уборщицей в школе работала.

— Одно и то ж. Только, я тебе скажу, люди не вино-
ваты. Время такое было: волком кое-кто за свое богатство
сделался.

— Это так,— сказала мама и опустила голову.

Он рассказал, как нам идти дальше, а потом пошел
проводить. Шел молча впереди, потом остановился и ска-
зал: «Ну, теперь сами идите». И повернул назад.

Цирк на сцене

Мы пошли дальше. Придумался хороший разговор.

— Спина разламывается пополам — чудесно!

— Где ночевать будем — не знаем — замечательно!

— У меня нос обгорел — красота!

— Если свалимся и умрем — всякий позавидует.

Сзади нас загромыхала телега. Мы оглянулись. Моло-
дой парень в фетровой шляпе гнал лошадь прямо на нас.
За ним на телеге в два ряда стояли бидоны. Подъехав к
нам, он резко затормозил и снял шляпу.

— Здравствуйте.

Мы ответили.

— Лихо же ты молоко возишь,— сказала мама,— не
боишься, что масло собьешь, пока доедешь?

Парень слез с телеги, показал нам редкие зубы в улыбке и надел шляпу на уши лошади.

— С этого молока масла не будет. Обрат. На ферму телятам везу.

— А вот он,— мама показала на меня,— не знает, что такое обрат.

— Хочешь узнать?

Я кивнул.

Парень нагнул бидон и налил мне в кружку обрат. Он был белый, как молоко. Я выпил до дна и понял, что это молоко, из которого каким-то образом выкачали весь вкус.

— Молоко,— сказал я,— верней, бывшее молоко. Спасибо.

— Правильно,— сказал парень,— после переработки.

Мама тоже выпила целую кружку. Парень надел шляпу на свою голову, сел на телегу, сказал нам: до свиданья, и погнал лошадь дальше.

Через час я не кричал: «Свалимся и умрем — всякий позавидует», этот момент настал. Рюкзак стопудовой гирей давил на спину, ноги стали как распаренная резина, еще секунда — и конец. Но прошла секунда, минута, и вдруг стало легко. Так легко, что я обогнал маму и запел песню.

— Товарищ начальник маршрута, не понимаю, что произошло? Ноги стали как ноги, и даже рюкзак, а не как стопудовая гиря.

— Пришло второе дыхание,— сказала мама,— у меня уже это было.

Но кончилось и второе дыхание. Мы окончательно выбились из сил, а ближайшая станица только дразнила и обманывала нас своими крышами. То они были близко, то совсем исчезали в зелени листвы.

— Не дотянем,— сказала мама, и мы свернули к трем тополям, под которыми была тень.

Проснулись мы через час. Поели и побрели дальше.

— Вид у нас, Петька, неудобно людям на глаза показываться,— сказала мама.

Вид действительно был у нас заброшенный. Волосы от пыли и солнца стали жесткими как солома, вся одежда измялась.

— Ничего,— сказал я,— по одежде встречают, по уму провожают.

— Тогда все в порядке,— рассмеялась мама,— ты выходишь вперед и демонстрируешь свой ум.

Но ничего такого мне не пришлось делать. Как только мы вошли в станицу, мальчишка лет семи выбежал нам навстречу и спросил:

— Вы циркачи?

Мы опешили. Какой бы ни был у нас вид, но этого мы не ожидали.

— Я вас провожу,— радуясь, что встретился с нами, сообщил мальчишка и повел нас по улице. По дороге мы обрастали новыми мальчишками и девочками, которые сообщали друг другу:

— Циркачи это! И мальчик циркач!

Они забегали вперед, заглядывали нам в глаза и очень радовались встрече с ними.

— Ребята, здесь какое-то недоразумение... — начала было мама, но не закончила; у колодца, на щите, мимо которого мы проходили, висела афиша: «Только один день! В клубе колхоза — гастроли эстрадно-циркового коллектива «Цирк на сцене».

— Петька, все ясно и, по-моему, грустно,— шепнула мне мама,— места в Доме приезжих заняты.

Мест действительно не оказалось. Увидев, как мы расстроились, заведующая Домом приезжих стала нас отчитывать:

— Ну, что вы за люди! Неужто у нас как в городе: мест нет, и иди себе, хоть куда знаешь.

Она взяла в каждую руку по нашему рюкзаку и повела к себе домой. В просторной комнате было до того чисто, что мы с мамой не знали, куда девать себя.

— Вот спички, вот дрова, вот чугуны для воды, вот мыло,— быстро-быстро говорила хозяйка,— вот кровать, вот молоко, вот хлеб, вот яички,— хозяйствуйте сами, зовут меня тетя Шура, приду я утром.

Мы стали хозяйствовать. Через час я вышел на улицу розовый и легкий, как будто и не шагал сегодня с рюкзаком по пыльной дороге. Конечно, меня, как и тех ребят, интересовали цирковые артисты. Я пошел к Дому приезжих.

— Любо поглядеть, який гарнецький стал,— сказала тетя Шура,— артистов пришел повидать, а их нету. В клубе репетируют.

— Тетя Шура,— раздался голос в коридоре,— как это

нет артистов? А я кто? Я уж, по-вашему, пустое место, персона нон грата?

На крыльце показался длинный парень с тонкими черными усами.

— Привет! — сказал он мне. — Где-то я вас видел?

— Не знаю, — ответил я, — по-моему, нигде вы меня не видели.

— Возможно, — сказал парень, оттягивая пальцы и громко щелкая, — а жаль. Тетя Шура, имею ли я право поговорить с этим молодым человеком наедине?

— А пропади ты пропадом, — рассердилась тетя Шура, — балалайка, а не человек.

— Вы, уважаемая тетя Шура, не можете из своего заземленного состояния видеть вещи в их конфигурации.

Он говорил очень смешно, но тетя Шура воспринимала все всерьез.

— А ты все видишь, как же. Вымахал и думаешь, что видишь дальше всех. Так я тебе скажу: в ботву ты пошел.

Она ушла, громко хлопнув дверью.

— Темная личность, — пожал плечами длинный парень, — но своему месту соответствует. Ну-с, а чем ты меня порадуешь?

Я не знал, чем его порадовать.

— Тогда приходи завтра. Вспомни и приходи.

— Что вспомнить?

— Кто ты. Откуда. Как тебя зовут.

— И тогда вы обрадуетесь?

— Очень.

Я не стал портить игры.

— Хорошо, я приду завтра.

Назавтра он сам меня нашел. Мама пошла с тетей Шурой в сельпо, я сидел в палисаднике с книжкой, и вдруг появился он.

— Мой юный друг, — сказал он, — тебя ждут необыкновенные новости, а ты сидишь и ничего не знаешь. Может, у тебя переекзаменовка?

Я рассмеялся.

— Нет. Это Чехов.

— Тогда следуй за мной.

Мы прошли улицу, завернули и подошли к маленькому домику. Мой знакомый ногой толкнул калитку, и мы вошли во двор. Там за летним столиком сидела женщина в белой кружевной блузке.

— Ах, Сима, это вы! — вскрикнула она и сделала вид, что испугалась.

— Это я,— сказал мой знакомый,— и по очень важному делу.

Они ушли в дом, а я остался ждать во дворе. Сима вернулся один и сказал:

— А теперь слушай.

Он говорил серьезно, и с каждым его словом уши мои разгорались все сильнее, а сердце то останавливалось, то стучало, как молоток.

— Считаю, человек, что тебе привалило счастье. Мне с моим ростом об этом и мечтать не приходится.

Дальше он сказал, что в их труппе инкогнито, что значить тайно от всех, скрывается один известный кинооператор. Он ищет героев для своего фильма-в, понятно, не хочет, чтобы об этом знали окружающие. Вчера он увидел меня и сказал: «Такого мальчика я ищу уже полгода».

У меня поплыли круги перед глазами. О таком я даже не мечтал. Сразу я представил ребят из нашего класса. Как они пошли в кино и увидели меня.

— Что же ты молчишь? — спросил Сима.

— Может, еще ничего не получится,— я боялся показать свою радость.

— Чудак! Я бы на руках ходил от счастья.

— Я не такой уж красивый. Может, он хорошо не разглядел.

Сима рассмеялся.

— Вот дает! Да не в красоте же дело. Ты — нужный тип. Понимаешь, соответствуешь образу. Ему для фильма нужен именно такой, как ты. Скажу по секрету, только не выдавай меня: будешь играть роль юнга. Съемки будут проходить в море, на военном корабле.

Я молчал как пришибленный.

— Ты не волнуйся,— успокаивал меня Сима,— сначала тебя повезут в Москву. Там часть фильма будет сниматься на фоне высотных зданий. Потом, кажется, Крошштадт, а море — это уже в самом конце. Ты ведь не сразу становишься юнгой. Сначала живешь у злой мачехи, убегаешь из дома, а потом уж встречаешься с одним пенсионером, который направляет тебя на правильный путь.

Сима попросил, чтобы я пока никому ничего не говорил, а в шесть часов приходил в этот дом на пробу.

— Проба — это пробная съемка,— объяснил он мне,—

надо узнать, как ты ложишься на пленку. Но ты не сомневайся — лицо у тебя фотогеничное и голос хороший.

Как я ложусь на пленку, фотогеничное лицо — все это окончательно пришибло меня. Я уже не радовался, а тревожился: вдруг не подойду. Сима посоветовал порепетировать стихотворение, а сам убежал, сказав:

— Значит, в шесть. Жду здесь, на этом месте.

Я вышел на улицу. Из всех стихотворений твердо до конца я знал басню «Ворона и Лисица». Но я решил репетировать «Стихи о советском паспорте», хотя знал только начало и конец. Никого не замечая, я шел по улице и с выражением рычал:

Я волком бы выгрыз бюрократизм,
К мандатам почтенья нету,
К любым чертям с матерями катись
Любая бумажка, но эту...

— Зачем ругаешься, мальчик? — услышал я женский голос. Но этот голос донесся до меня с другой планеты, и сам я уже не был в этом мире.

В шесть часов вечера я вошел во двор и постучал в дверь. Послышался громкий голос:

— Да-да! Просим!

Я вошел. Колени мои подогнулись от страха: я сразу увидел на кровати киноаппарат. Та женщина, что утром была во дворе, и другая, обе в одинаковых кружевных блузках, сидели за столом и с интересом глядели на меня. На столе стояли бутылки с вином и тарелки с черешней. Рядом с Симой сидел маленький, круглый мужчина.

— Так это ты будущая кинозвезда? — обратился он ко мне и подмигнул девушкам. — Чем же ты нас порадуешь?

Сима подбодрил меня:

— Смелей, малыш, от этой минуты зависит вся твоя судьба.

Я заложил руки за спину. И, неожиданно для себя, начал:

— «Ворона и Лисица». Басня. Написал Крылов.

Вороне где-то бог послал
Кусочек сыру...

Я остановился. Что я делаю? Ведь я собирался читать «Стихи о советском паспорте».

— Ну, ну, так говоришь, бог послал? — спросил опе-

ратор.— И как же распорядилась ворона с этим божьим гостинцем?

Женщины в кружевных кофтах вахихикали и отвернулись. Я разозлился на себя.

— «Я волком бы выгрыз бюрократизм»,— закричал я, не замечая, что иду прямо на оператора.

— Чудесно, молодец! — сказал оператор и схватил киноаппарат.— Создавай образ волка, который грызет бюрократизм!

Затрещала камера. Я остановился. Дуло киноаппарата загнипнотизировало меня.

— Юный артист потерял нить,— сообщил своим друзьям оператор,— сейчас мы ему поможем.

Он налил в стакан вина и подал мне. Я залпом выпил и перестал бояться. Что было потом, я плохо помню. Когда мама открыла дверь, я стоял на столе и под хохот всех изображал юнгу в лодке после кораблекрушения.

Ночью мне стало плохо. Мама хотела бежать за врачом, я умолял: не надо. Они возьмут другого на роль юнги, если я заболēju.

Проспал я до обеда. Когда проснулся, увидел маму и два рюкзака на стульях.

— Мы идем дальше, Петя,— сказала мама,— никогда не вспоминай вчерашний день. Эти люди подло пошутили с тобой. Им было скучно, и они развлекались.

Мы покинули станицу. Я шел и думал.

Ленька

Двенадцать километров мы прошли без усталости. Станицу увидели на половине пути, показалось, что она — совсем рядом, но на самом деле было еще далеко.

— Колхоз здесь большой,— сказала мама,— надо спрашивать Дом приезжих.

Но спрашивать было не у кого. По узкой, поросшей травой улице бродили белые куры, замки висели на дверях домов, в некоторых дворах прохаживались собаки.

— Все на работе,— сказал я,— в деревне на работу выходят с пением петухов.

Мама почему-то рассмеялась.

— А еще что ты знаешь про деревню?

Мы свернули на большую улицу и сразу увидели трех сердитых девчонок в белых косынках. Они стояли у ка-

литки и ругались. Одна из них, толстая, румяная, с длинной, как веревка, косой кричала громче всех:

— Открой, Ленька, все равно тебе это даром не пройдет..

Из-за веток дерева показалась голова мальчишки. Он заметил нас и подмигнул:

— Спешите познакомиться: «ответственная свекла» и и две «репки».

«Ответственной свеклой» была румяная девчонка с длинной косой. Она стукнула по забору пустым ведром и скомапдовала:

— Девочки, за мной!

Это был хитрый маневр. Шагов через пять она быстро обернулась, и Ленька только глазами заморгал. Ком земли рассыпался у него на груди.

— Ничего, ничего,— сказал он сам себе, отряхивая рубашку, но в этом «ничего» звучала угроза. Потом он спрыгнул с дерева и пошел в глубь двора.

— Пстой, куда ты? — повзала его мама. — Как пройти к Дому приезжих?

— А вы кто такие?

Потом мы узнали, почему он был такой подозрительный. Отец его — шофер, попал в аварию. Мать уехала в райцентр к нему в больницу. А Ленька остался с двухлетним братом Котькой.

— Тут каждый день приходят, уговаривают, чтобы отдал Котьку.

— Эти девочки тоже?

— Нет, это тимуровская команда. Убирать приходили. Видали, с ведром пришли.

Девчонка с косой была ответственная за тимуровскую работу. Ленька был зол на нее.

— Пусть к старым бабкам ходят, там они скорей свой план выполнят.

Котька спал. Окно в его комнате было завешено одеялом. Мы расположились в первой комнате, сняли рюкзаки, умылись. Рядом с печкой в старой корзине сидела гусыня. Она смотрела на меня не отводя взгляда. Ленька достал из печки чугунок с картошкой, принес кислое молоко, крошил редиску.

— Зачем вам Дом приезжих? Живите здесь. У нас прошлым летом одни жили — муж с женой, тоже вот, как вы, пришли и остались.

Мама сказала, что без его родителей не совсем удобно решать этот вопрос. Ленька махнул рукой.

— У нас с этим вопросом просто. Нравится — живите.

Проснулся Котька. Вышел к нам со штанами в руках и протянул их маме. Мама надела ему штаны. Котька поглядел на нее и сказал:

— Тетка.

Это слово всех нас рассмешило. Котька даже не улыбнулся. Он сам забрался на свой высокий на колесах стул и взял ложку.

— Серьезный мужик, — сказала мама.

После обеда Котька принес шапку-ушанку и вывалил из нее на пол ворох марок. Марки были грязные и липкие и не все настоящие, некоторые вырезаны из журналов. Дома у меня остались марки. Я сказал Леньке, что пришлю их. Он совсем не обрадовался.

— А зачем? Солить их, что ли? Давай лучше письма друг другу писать.

Я согласился. В прошлом году я переписывался с Отто из ГДР. Он писал мне: «Я имею двух сестер, одну мать и одного отца». Переписка наша была скучная, отвечал я Отто только из-за интернациональной дружбы. С Ленькой наверняка мы бы писали друг другу что-нибудь другое.

— Леня, где у вас почта и баня? — спросила мама.

Баня стояла в центре станицы. Мама купила два билета. Один дала мне.

— Вот, Петя, тебе билет. Иди в мужское отделение. Уши не забудь вымыть, спину — попроси кого-нибудь, не стесняйся.

В комнате, где раздевались, дед с бородой открывал шкафчики для одежды и выдавал тазы с ручками. Он не внял, что я в первый раз в бане и закричал на меня:

— Чего рот разинул, бери шайку и иди мойся.

Я взял таз и вошел в баню. Густой пар застал мне глаза, я сначала никак не мог найти себе места. Из двух кранов люди набирали воду, горячую и холодную. Я поставил таз и тоже набрал. Я уже стал различать скамейки и наметил себе глазами местечко у стены. Поставил туда таз и тут вспомнил, что забыл в кармане штанов мыло. Рядом мылся худой, в шпрамах мужчина. Я дождался, когда он смое с головы пену и спросил:

— Можно намылиться вашим мылом?

Он разрешил, и я стал мылить голову. Потом побежал к кранам за чистой водой, и тут мне в оба глаза попало мыло. Таз вывалился у меня из рук, я с закрытыми глазами стал искать его, поскользнулся и упал. Кто-то окатил меня водой, я открыл глаза и узнал своего соседа со шрамами.

— Ты мыться сюда пришел или грязь собирать? — спросил он.

Я сказал, что мыло попало в глаза, а вообще пришел я сюда мыться.

Он налил в таз кипятку, выплеснул его на нашу каменную скамейку и сказал мне:

— Ну, давай, с парком.

Пар окутал нас облаком. Мужчина взял в руки веник и стал хлестать меня со всех сторон. Я испугался, мне вдруг показалось, что он из какой-то религиозной секты, но веселый голос его успокоил:

— Что, хорошо?!

Потом он еще вылил кипятку на скамейку и протянул веник мне. Я не мог стегать по-настоящему. Шрамы у него были широкие, красные, и я боялся, что ему будет больно.

— Не стесняйся, лупи! — просил он, а я стеснялся, верней, не мог.

Потом он вылил на себя таз ледяной воды и пошел одеваться. В предбаннике я потерял его. Дед с бородой сказал, что я принес шайку без номера и отправил меня обратно. Пока я искал свой таз, мой знакомый с веником успел уйти.

Мама, увидев меня, сказала, что я спяю, как медный самовар. Она тоже была сияющая и распаренная. Мы выпили по кружке хлебного кваса и решили посидеть в тени на скамейке, чтобы из нас выветрился банный дух.

Вечером мама сказала Леньке:

— А мы, пожалуй, поживем у тебя дня три. Хозяин ты хороший, но младший брат — это штука нелегкая. Тебе и погулять некогда.

Она растопила печку, выкупала Котьку и стала стирать его штаны и рубашки. Мы с Ленькой вышли во двор.

— Есть одно дело, — сказал мне Ленька, — только не знаю, сгодишься ли ты для него.

Я обиделся.

— Не сгложусь, так и нечего начинать.

Ленька стал пристально глядеть мне в глаза, я не сморгнул.

— Только это надо ночью. Не убоишься?

— Не убоюсь.

«Дело» мне не понравилось, я сразу почувствовал, что Ленька решил отомстить. Отомстить «ответственной свекле» за тот ком земли, которым она его днем угостила.

— Она спит во дворе, — шептал мне Ленька. — Одеяло приспособила между деревьями вроде гамака. А мы, как подползем, как кульнем вниз головой!

Ленька развеселился. А я представил себе, как спит девчонка на свежем воздухе, сон ей какой-нибудь снится, и вдруг летит на землю. Поднимает, конечно, крик, выбегают родители, остальное представлять неохота — все ясно. Одна была надежда, что Ленька проспит.

Мы легли с ним на одной кровати в сених, и я долго не мог уснуть. Только задремал, а тут Ленька в ухо подул:

— Вставай, пора.

Я поднялся и подумал, что, уходя, можно громко хлопнуть дверью. Мама спит чутко и остановит нас. Но это было бы предательством.

Мы вышли в черную ночь.

— Ты чего молчишь? — спросил Ленька.

Я ответил:

— Может, зря мы с этой «свеклой» связываемся. Упадет, заорет, а мы что?

— А мы утекаем, — беззаботно разъяснил Ленька, — только ты за мной не беги, а то я подумаю, что это «свеклин» брат гонится.

Ленька меня окончательно пришиб.

— Так у нее брат есть?

— Володька. В девятый перешел.

У меня даже живот заболел после этих слов.

— Что ж ты сразу про брата не сказал?

Ленька тихонько свистнул.

— У нее целых три брата. — Потом помолчал и добавил: — Ты когда убегать будешь, огородам не беги. Там у них колодец роют — еще завалишься.

Я шел уже как мешок с сеном. Лови меня, бей, я ничего не почувствую. Ленька тихонько открыл калитку, взял меня за руку и повел во двор. Мы молчали. Что-то

черное, похожее на кашалота, висело между двумя деревьями.

— Она, — шепнул Ленька, — зарылась, чтобы комары не кусали. Надо заходить с одной стороны... и вверх. Понял?

Мы зашли с одной стороны и попробовали поднять вверх. Внутри заворчалось, и Ленька приказал мне:

— А ну, давай!

«Свекла» плюхнулась в траву вместе с одеялом и подушкой. Она не закричала, и я растерялся. Я приготовился бежать, когда будет крик. Но вместо этого я услышал злой, сиплый голос Леньки:

— Пусти... пусти, говорят, пусти, зараза.

Дальше все случилось как в кино. Девчонка схватила Леньку за ногу, бросила ему на спину подушку и уселась на пем, как на диване. Шума не было. Я услышал шепот.

— Сколько?

Я понятия не имел, о чем она спрашивает, и машинально ответил:

— Десять.

И тут она стала считать и щелкать по Ленькиному затылку.

— Раз, два, три, четыре...

Каждый щелчок отдавался в моем сердце.

Когда мы подходили к Ленькиному дому, он сказал:

— Ничего себе друг, десять штук назначил, — и потер ладонью затылок.

Он уже злился на меня, как будто это я его щелкал. Это было несправедливо.

— Конечно, ничего у тебя друг, — сказал я, — мог бы и сто назначить.

Утром мама заметила наши кислые лица.

— Поссорились?

Мы оба заверили, что ничего такого не случилось. Через час, как ни в чем не бывало, к Леньке в дом пришла «ответственная свекла».

— Здравствуйте, — сказала она маме, — можно с вами по секрету поговорить?

Мы с Ленькой побледнели: вот нахалка, прямо так, на глазах, пришла ябедничать.

— Если по секрету, — сказала мама, улыбаясь девчонке, — то попрошу мужчин удалиться.

Мы с Ленькой вышли во двор.

— Как ее зовут? — спросил я.

— Надя.

Я решил держаться изо всех сил.

— Скажи, пожалуйста, а речка у вас тут есть?

— Есть.

— Пойдем, искупаемся.

— Пойдем.

Но мы никуда не двинулись, пока мимо нас, отвернув голову, не прошла Надя.

— Сиди здесь. Я сейчас выясню обстановку, — сказал я Леньке и вошел в дом.

Лицо мамы удивило меня. Она стояла возле окна и то улыбалась, то хмурилась и совсем не видела меня.

— Нашла из-за чего расстраиваться, — независимым голосом сказал я, — если кто и пострадал, так это Ленька. Видела бы, как она его щелкала по затылку.

Мама меня не слышала. Она взяла рюкзак, достала оттуда мои парадные вельветовые шорты и чистую рубашку.

— Надо погладить, — сказала она, — ты не знаешь, где утюг?

— Что с тобой, — крикнул я, — зачем ты мне все это вытаскиваешь?

Мама подошла ко мне.

— Петя, с кем ты вчера познакомился в бапе?

— Не знаю. Он меня веником молотил. Весь в шрамах, худой такой.

Мама улыбнулась.

— Петя, это был Павлик.

— Что?! Тот самый? Наш Павлик?!

— Тот самый...

— Ура! — крикнул я. — Что же мы стоим, надо сейчас же идти к нему!

— Мы пойдем, сейчас я поглажу все, и мы пойдем.

Она гладила мою рубашку и очень волновалась, и когда мы шли по улице, сказала:

— Петя, ты не говори Леньке все, что знаешь о Павлике. Скажи, что он просто наш знакомый. Он — председатель колхоза, а в деревне одному сказал — все знают. Могут и неправильно истолковать. Ты меня понял?

— Понял. Я и папе, если хочешь, ничего не скажу.

Мама остановилась и посмотрела на меня с сожалением.

— Ох, Петька, маленький ты еще у меня. Папе мы обязательно все расскажем.

Мы подошли к белому домику в конце улицы. Красивая полная женщина в синем платье с белыми бусами открыла нам калитку, на крыльце в белой рубашке с папирозой в руке сидел Павлик. Он поднялся и пошел нам навстречу. Все вместе мы вошли в дом. Там за накрытым столом сидели люди.

— Вот так и живу, — сказал Павлик, — когда все поздоровались и познакомились.

— Хорошо живешь, — сказала мама, — я рада за тебя.

— А теперь, гости дорогие, — сказала женщина в синем с бусами платье, — попрошу всех посидеть у нас в саду. Погода хорошая, солнышко светит, а Паша с Леной двадцать лет не виделись, есть им о чем порассказать друг другу. А потом уж и мы их беседу послушаем. — Она взяла меня за руку и первая вышла из комнаты. В саду меня обступили гости.

— Ты в кого же пошел, в мать или в батьку? — спросила одна старушка.

— Глазки у него мамынькины, — сказала другая старушка, — а бровки вроде батькины.

Я не знал, что отвечать. Выручила меня жена Павлика — женщина в синем платье с белыми бусами.

— Компании тебе тут подходящей нет, — сказала она, — наш Славка с дедом на рыбалку умахнули, через три дня вернутся.

— А сколько Славке лет?

— Двенадцать.

— И мне двенадцать.

— Вчера Паша из бани пришел и говорит: «Показалось мне, Оля, что я Лену с сыном видел. Вроде бы они». Ну, мы и давай вас разыскивать.

Гости удивлялись, разглядывали меня, старушки просили:

— Ну, расскажи нам что-нибудь, милоч, расскажи.

Я рассказал им, как мы с мамой решили пешком дойти до ее родной станицы, как шли и заблудились, как ночевали у Ивана Макаровича.

— Вы у нас тут уж погостите, как следует отдохните, — сказала жена Павлика. — Знать бы, куда это Славка с дедом подались, я бы уж не поленилась, разыскала их. Но ничего, вернутся, повидаете еще друг дружку.

Потом все гости и я перебрались в дом и уселись за стол. Павлик всем налил вина и потребовал, чтобы мама сказала тост. И мама сказала:

— У каждого человека есть место на земле, где он родился. И у каждого человека в жизни есть люди, которых он называет друзьями. Выпьем за то, чтобы человек хотя бы раз в жизни приходил поклониться родным местам и никогда не забывал старых друзей.

Когда веселье было в самом разгаре, пришел парень с баяном и начались песни. Пели про войну. Как вьется в тесной печурке огонь и до смерти четыре шага и про девушку, которая провожала на позицию своего жениха. Мама заплакала и жена Павлика тоже.

— Это не простые песни,— сказал мне Павлик,— это наша молодость.

Провожали нас всей гурьбой, с баяном, до самого Ленькиного дома.

Утром мама разбудила меня, и мы стали укладывать рюкзаки. Леньку мы будить не стали, а оставили ему записку: «Ты хороший человек, Ленька, и спасибо тебе за все. Нам пора, пока солнце еще не поднялось и нет жары. Помирись с Надей и жди от нас письма».

...Мы шли и думали каждый о своем. Я знал, что не надо говорить с мамой о Павлике. От наших шагов на дороге поднималась пыль, мы шли босиком и чувствовали, какая нагретая, почти горячая под нашими ногами земля. С двух сторон росла пшеница. Колосья свесили свои усатые головы, и казалось, что это не кузнечики стрекочут, а колосья что-то стараются рассказать нам. Я прислушался и разобрал: «Пить-пить-пить-пить».

— Мама,— позвал я,— по-моему, нужен дождь. Смотри, как повесили головы колосья.

Мама бросила рюкзак, села на него и посадила меня рядом с собой.

— Давай отдохнем. Ты что-то увял, мой Робинзон, и разжаловал меня из начальника маршрута. А пшенице дождя не надо, через недельку ее убирать начнут.

— Ты идешь, молчишь... Начальник маршрута должен быть веселым, а ты молчишь.

— Я думала правильно или неправильно мы сделали, что ушли так рано. И решила: правильно. А ты?

— Я тоже так думаю. Нам нельзя было позже, мы же сами написали Леньке: «Пока солнце еще не поднялось».

Содержание

Рассказы

Куда оно уходит...	5
Первая статья	24
Любит — не любит...	35
Свой человек Зойка	45
Тага	55
Каторжник	65
Привезла Варвара мужа	79
Рубль до получки	91
Гула	104
С утра до вечера	113
Мальчик в квартире	128
Ерофеич и Данька	139
Мальчики	149
Дед Сева с острова Шикотан	162
Пирожков	170

Повесть

Пешком в мамино детство	181
-----------------------------------	-----

**Римма Михайловна
Коваленко**

СВОЙ ЧЕЛОВЕК ЗОЙКА
Рассказы и повесть

Редактор Т. Ильина
Художник И. Гусева
Художественный редактор Б. Мокин
Технический редактор В. Никифорова
Корректоры О. Голева, Н. Попникова

Сдано в набор 15/IV-1974 г.
Подписано к печати 22/VII -1974 г.
А 03874.
Формат изд. 84×108^{1/2}.
Бумага тип. № 1. Печ. л. 7.
Усл. печ. л. 11,76. Уч.-изд. л. 11,66.
Тираж 30 000 экз.
Заказ № 882. Цена 58 коп.

Издательство «Современник» Государ-
ственного комитета Совета Минист-
ров РСФСР по делам издательств, по-
лиграфии и книжной торговли и Сою-
за писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Отпечатано с матриц Ордена Трудового
Красного Знамени типография изда-
тельства ЦК КП Белоруссии, Минск,
Ленинский проспект, 79, в типографии
№ 2 Росглавполиграфпрома, г. Рыбинск,
ул. Чкалова, д. 8. Заказ 2872,

